



Библиотека
Всемирного клуба петербуржцев

Библиотечная серия
«Без границ»
издательства Союза писателей Санкт-Петербурга

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

ИЕРУСАЛИМ — ХЕЛЬСИНКИ

11/2017

Хельсинки — Санкт-Петербург
2017

Работа международной творческой группы «Тайвас»
и проекта «Под небом единым» осуществляется при поддержке:

Посольства России в Финляндии;
Союза писателей Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург);
Всемирного клуба петербуржцев (Санкт-Петербург);
Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга.

Руководитель проекта «Под небом единым»
Елена Лапина-Балк

Учредители альманаха — *Елена Лапина-Балк*, *Александр Житинский*
Шеф-редактор — *Елена Лапина-Балк*
Выпускающий редактор — *Даниил Чкония*
Соредакторы альманаха — *Валерий Попов, Сергей Арно*

Редакционный совет альманаха «Под небом единым» № 11, 2017:

Даниил Чкония (Германия),
Александр Немировский (США),
Наталья Крофтс (Австралия, Сидней),
Лютель Эдер (Израиль, Ашкелон),
Елена Лапина-Балк (Финляндия, Эспоо),
Аннели Ойяла (Финляндия).

Наш адрес:
pod-nebom-edinyum@yandex.ru
Наш сайт:
www.pod-nebom-edinyum.ru



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ISBN 978-5-4311-
ISSN 2500-2554

© Авторы, тексты, 2017
© Kustantaja «Taivas» Helsinki, 2017
© Издательство «Союз писателей
Петербурга», оформление, 2017
© Маркина О., обложка, 2017

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Очередной — одиннадцатый — выпуск альманаха «Под небом единым» — перед вами. В этом выпуске меньше, чем обычно, дебютантов нашего альманаха. Объяснение простое: в редакционном портфеле накопилось немало рукописей наших авторов, чьи произведения уже публиковались в альманахе ранее, — многим из них мы дали слово и на этот раз.

Читатели, знакомые и с другими нашими изданиями, могут быть уверены, что мы продолжаем эти программы и сегодня. В частности, завоевала популярность наша серия книг «Лауреаты премии В. Сирина (Набокова)». Вслед за книгами лауреатов прежних лет — Игоря Белкина (Эстония), Даниила Чкония (Германия), Бахыта Кенжеева (Канада) — готовится к выходу книга нынешнего лауреата Елены Игнатовой (Израиль).

По-прежнему авторы и члены редколлегии альманаха принимают участие в различных литературных встречах, фестивалях, симпозиумах в разных городах и странах Европы, знакомя участников этих творческих мероприятий с нашим альманахом и его авторами. География таких презентаций широкая: Россия, Бельгия, Италия, Греция и другие страны. В наши планы входят и дальнейшие встречи, расширяющие аудиторию читателей альманаха «Под небом единым», чьи авторы живут и пишут на русском языке на всех континентах.

Мы рады новой встрече с нашими читателями!

*Шеф-редактор альманаха
Елена Лапина-Балк*

Наталья Крофтс

Родилась в городе Херсоне, окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и Оксфордский университет. Живёт в Австралии.

Автор двух поэтических сборников и многочисленных публикаций в русскоязычной периодике (в журналах «Нева», «Юность», «Работница», «Новый журнал» и многих других). Стихи на английском опубликованы в четырёх британских поэтических антологиях.

О НАС

В порыве, в огне и в пылу безотчётно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небось,
взорвётся накопленной страстью вулкан Кракатау
и ринется в небо.

Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребёнок свободе от уз и уступов.
И долго ещё будут волны голубить колени
обугленных трупов.

А после — уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море разнежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока ещё — молча.

АНУБИС ЕДЕТ В ОТПУСК

Он ждёт и ждёт. А их всё нет и нет.
Он потирает лапки и зевает.
И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает —
зарвавшись и зарвавшись — застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллингит.

Анубис дремлет. Наконец, шаги —
нетвёрдые. И робкий стук. И скрип
тяжёлой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите» — зверь листает манускрипт.

А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше:
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий, как скелет,
старик тоскливо шепчет:
«Я — последний».

На радостях шакал вильнёт хвостом —
«Дописан каталог — вся желчь и сплетни,
людские дрязги, вой тысячелетний...
Какой, однако, препротивный том —
подробная и тщательная опись.
...А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждёт вас белозубая Амаат».

Закроет опус.
И уедет в отпуск
на опустевший Крит — гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима...
В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.
Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.

КУ-КА-РЕ-КУ!

Когда мы ели петуха,
хрустели смачно потроха
с лучком из кладовой,
торчало крылышко горбом,
как парус в море голубом,
в кастрюле суповой.

Но мрачно хмурился мой дед,
и невесёлым был обед,
и в горло суп не лез.
Мы ели друга. Потому,
что песни нравились ему,
но петь нельзя в большом доме —
здесь вам, друзья, не лес.

А он плевал на палачей,
он петь хотел, не спал ночей —
и с часу или двух,
чтоб нам развеять грусть-тоску,
он радостным «ку-ка-ре-ку»,
приветливым «ку-ка-ре-ку»
ласкал и тешил слух.

Но вот явился управдом,
и пенье обозвал вредом:
«В кастрюлю этих Петь!
Держите кошек и собак,
а петуха нельзя никак,
горластых нам нельзя никак —
нельзя ночами петь!»

Здесь можно спать, плясать гавот,
скандалить, ныть, растить живот,
собачиться до драк,
хамить и врать, хлестать вино,
быть с Чудом-Юдом заодно,
но петь нельзя никак!

... Сквозь слёзы я гляжу на суп.
Мне три. Я Петю не спасу.
Не прыгать петушку.
Но слышу я сквозь боль и страх —
молитвой звонкой на ветрах —
да это ж я, сквозь боль и страх,
пою: «Ку-ка-ре-ку».

* * *

Словно крик — плотоядно-пронзительный крик птерозавра,
затаившийся в птице, в спиралах её ДНК,
чтобы тонкою тенью тихонько пройти сквозь века
и внезапно прорваться в холёное доброе завтра
из груди безобидной пичуги... Так я чужака
привечаю и потчую, разулыбаюсь, расту,
но внутри оживает свирепая, дикая стая —
первобытная стая в азарте кружит и визжит.
Ощетинились холки. Подкожное — бейте чужих.
И рука не желает открыться для рукопожатья,
будто чуждое племя напало на мой материк.

И всю жизнь я бегу. И никак не могу убежать я
от неистойвой стаи. Туда, где бесследно растает
первобытная злость — плотоядно-пронзительный крик.

ФЕВРАЛЬ. ЕЩЁ ЧЕРНИЛ

Антиподное лето. Февраль от жары разомлел,
развалился, разнежился на эвкалиптовом воздухе —
словно ящерка, что под окном распласталась на ворохе
заскорузлой листвы. На прожаренной этой земле,
прокалённой, калеченной засухой, чёрной, но заново
выпускающей жизнь на смолистую, жжёную паль, —
на земле этой южной удушливо-пряный февраль —
ни пролётки, ни слякоти — дарит несытое зарево
от пожаров-убийц. И ещё — золотистую синь
беззаботного пляжа, где шумно, и девочка пляшет
у останков рождественской ёлки. В руках — апельсин,
ароматное солнце. У берега — брызги и радуга.
Австралийский февраль — это жизнь. Он калечит и радует.

Что же, радуй, резвись. Буду ящеркой юркой лежать
на ладони у света, вдали от угара и сора,
даже зная: однажды сюда доберётся пожар
и обнимет меня. Убаюкает. Может быть, скоро.

Алина Талыбова

Поэт, переводчик, журналист. Редактор отдела поэзии в журнале «Литературный Азербайджан». Автор нескольких сборников стихов и переводов (с английского и азербайджанского). Лауреат и финалист нескольких международных фестивалей поэзии. Публикации в России, Германии, США, Израиле, Словакии, Грузии, Украине, Узбекистане и т. д.

ИЗ «МИНИМАЛИСТИЧЕСКИХ СТИХОВ»

ДОЖДЬ

Всю ночь до рассвета,
оаций не ждя,
Всевышний играет
на арфе дождя.
Аккомпанементом
нестройным
вступает труба водостока.
Улица
по старому городу:
вниз и налево.
Теряя дорогу, опять выбираясь,
камнями,
истёртыми до сердцевины,
незряче бежит, на ходу спотыкаясь, —
как женщина
к телу последнего сына.

ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТА К СВОЕМУ ГОРОДУ

Ковчег моих иллюзий эфемерных,
ты, громоздящий в небо этажи...
Ночь, как шербет

с добавкой пряной лжи,
и кривоватых улочек химеры
бредут посудомойки и гетеры,
халифы и бомжи...

ОБ ЭМИГРАЦИИ

Сколько лет уже подряд,
родственники и соседи —
едем, едем,
едем, едем...
Поглазеть чужой парад,
подышать чужим озоном...
Расколовшийся гранат,
разлетевшиеся зёрна.

ВОРОН

Ну что, потомок Невермора?..
Слетай с нетвёрдого забора
и заводи свой разговор —
о Вечности, об Эллинор...

ЭКОТРИЛЛЕР

Ищет планета от века до века
противоядие от человека.
Время застыло
в отсчёте обратном,
шар голубой станет
чёрным квадратом...
И — крики соек,
и — травы по пояс...
Долгая память тебе,
мегаполис...

У КАРТИНЫ ВАН ГОГА

Художник был и наг, и сир,
рисуя это солнце...
А нынче кормит целый мир
экспертов и торговцев.

Майя Шварцман

Родилась в Екатеринбурге, окончила консерваторию, скрипачка, работала в театре Оперы и балета. Из России уехала в 1990 году. Живёт и работает в Генте. Никакие свои премии, звания и тиражи перечислять не любит.

ВЫБОР И РИСК ЛЕОПОЛЬДА МОЦАРТА

Что можно сказать об отце, который не пустил сына в школу, и потому малыш никогда не общался со сверстниками, не бегал с друзьями по улицам, не играл с ними в догонялки, прятки и камушки, не валял дурака, не возвращался с уроков, весь закиданный снежками, в милый тёплый дом? Что сказать об отце, который нещадно эксплуатировал труд своего ребёнка, заставляя его работать буквально на износ с самого нежного возраста, и опускал порой баснословные суммы, заработанные этим мальчиком, в свой карман? Кто он — угнетатель, монстр, садист, вымещавший на ребёнке свои собственные неудачи и застарелые комплексы? Тиран, деспот? Но у ребёнка был весёлый и общительный характер, он нисколько не чувствовал себя обделённым и любил отца самолюбвенно. «После Бога только папа», — говорил он. Именно за то, что тот обязал его работать, ибо ничего больше в жизни он не хотел так, как этого труда.

Нельзя сказать, чтобы родитель не занимался мальчиком, а только заставлял его содержать всю семью. Напротив, он буквально не сводил с него глаз. Он внимал, не дыша, каждому его движению, слову, шуткам или слезам. Не отдав его в школу, он сам взялся преподавать ему арифметику, чтение и письмо. До конца своих дней мальчик сохранил забавное пренебрежение к правилам орфографии и собственный взгляд на главенство тех или иных вещей в этой жизни; грамматические ошибки в своих многочисленных письмах он делал не так уж часто, но, уже будучи взрослым, писал «бога», «францию» и даже имя девушки, на которой потом женился, со строчной буквы. Зато слова «Честь» и «Музыка» — с прописной. Письма отцу он часто начинал так: «О лучший из отцов!» Географию Европы

этот ребёнок выучил не перелистыванием атласов, но созерцанием самых разных ландшафтов, трясаясь по ухабистым или крупномощёным дорогам на жёстких рессорах почтовых карет. Ему приходилось питаться трактирной стряпнёй, жить в дешёвых гостиницах, рано вставать, поздно ложиться, высиживать на множестве утомительных взрослых приёмов, несколько его не интересовавших, и работать, работать, работать...

«Леопольд Моцарт выжимает из сына все соки», — неодобрительно отозвался Адольф Гассе.

«Лучший из отцов» — Леопольд Моцарт — был к тридцати шести годам помощником капельмейстера при дворе зальцбургского архиепископа Штраттенбаха, учителем музыки, руководителем хора мальчиков, оркестровым скрипачом, придворным композитором и автором прославленного труда по методике игры на скрипке — то есть человеком достаточно состоявшимся, когда у него родился седьмой и последний ребёнок. Из шести рождённых прежде выжила только одна дочь, остальные умерли в возрасте от шести дней до полугода. И вот теперь — долгожданный сын. На его рождение Леопольд Моцарт сочинил мессу.

Дошедшие до нас музыкальные произведения Леопольда Моцарта не слишком многочисленны, не слишком объёмны и не слишком занимательны. Но они исполнялись при его жизни, приносили ему добрую славу и определённый доход. Наиболее интересна Детская симфония со свистульками и трещотками, но всё же неясно, написал ли её Леопольд Моцарт — автором этого сочинения большинство исследователей называют Гайдна. Оратории, мессы, сонаты, дивертисменты, несколько инструментальных концертов. Забавная пьеса «Катание на санях» — приятная, но довольно монотонная звукоизобразительная музыка со щёлканьем бича, колокольчиками, со скользкой дорогой и скоростью явно восемнадцатого века. Не «Зима» Вивальди и не «Зимние грёзы» Чайковского. Трудно всего по двум-трём сочинениям судить о композиторе, но как раз в этой пьесе словно проскальзывает то, что потом проявится в идеально отточенных музыкальных формах его сына: из добротной, но зыбкой музыкальной глины, подготовленной отцом, появится безупречное одухотворённое изваяние, созданное преемником и наследником.

Главным произведением композитора Леопольда Моцарта, его *Magnum Opus*, стал сын.

Если правда, что браки заключаются на небесах, то это в полной мере относится к божественному соединению Леопольда Моцарта, сына переплётчика из Аугсбурга, с Анной Марией Вальбургой Пертль, дочерью префекта из Санкт-Гильгена. Этот брак был задуман и благословлен Всевышним в тихом и заурядном Зальцбурге, насчитывавшем к тому времени не более сорока тысяч жителей, и эта пара, встретившаяся в небольшом городе, была избрана из этих сорока тысяч ради того, чтобы в церковной книге появилась запись:

Иоганнес Хризостомус Вольфгангус Теофилус Моцарт, родился 27 января 1756 года.

Легко читать теперь тексты официальных биографий, где выверены каждая цифра и каждая дата, где всё классифицировано по годам,

соотносится с исторической обстановкой, где проводятся параллели, даются ссылки и цитаты, что позволяет читающему увидеть как общую картину, так и мелкие детали великой жизни. Многотомные труды, монографии, исторические изыскания сообщают о том, что уже безусловно произошло, и приводимые логика и мотивация действующих лиц в исторической или семейной постановке просты и понятны, о ком бы ни шла речь. Если о Моцарте — в чём же там теперь сомневаться? — можно с лёгкостью оперировать яркими словами «вундеркинд», «гений», «феномен» как чем-то неоспоримым. Жизнь состоявшаяся не вызывает чувства неуверенности. Родился, учился, сочинял, концертировал, ездил, выступал, прославился — что тут непонятного, что ещё, помимо ясного и непреклонного свершения, стоит за этими устойчивыми глаголами? Но представить себе всю эту жизнь, пока она шла, крайне сложно, и осознать её течение, час за часом, день за днём, попытавшись встать на место отца, то есть человека за неё ответственного, её во многом решившего, невысказанно трудно.

Ведь всегда всем кажется, что просто было писать во времена Вальтера Скотта или Пушкина, и представляется, что их талант, явный всем, легко и просто нашёл себе дорогу, обогнав, наверное, всего двух-трёх беспомощных конкурентов, а вот сейчас пробиться не в пример сложнее — ведь столько развелось мнимых писателей, сочинителей, творцов, и сколько ими рассыпано шелухи!

Но времена и творцы всегда одинаковы, и в восемнадцатом веке, как и в двадцать первом, искусство было полно зёрен и плевел, из которых — случайно или нет — время и вкус эпохи потом отберут то, что не исчезнет вместе со смертью своего создателя.

Но как проникнуть в мысли человека, который пока что просто живёт и не помышляет о том, что его отношение к воспитанию и образованию собственного сына войдёт в историю? Как понять его позицию, стратегию, муки выбора (если они были) и принятие решений — ведь он не мог заглянуть в конец книги, чтобы узнать правильный ответ?

Как и когда Леопольд Моцарт стал замечать, обучая музыке десятки других людей, маленьких и взрослых, занимаясь с собственной необычайно талантливой старшей дочерью, что его младший ребёнок приспособлен к музыке гораздо в большей степени, чем сотни встречавшихся ему за жизнь музыкантов? Тогда ли, когда младенец покачивал головой в такт звону колоколов или застывал на месте, услышав пение малиновки? Когда заползал под клавишину и высидивал там все часы уроков, которые отец давал другим? Когда ритмично постукивал пальчиками по подоконнику, самозабвенно внимая шуму дождя? Когда замирал, упиваясь тиканьем часов? Когда по плеску воды и звяканью кухонных тарелок безошибочно определял, кто именно моет посуду, и рыдал, если с какофонным грохотом, с варварским неблагозвучием разбивалось блюдо?

Какой пронизательностью и верой надо было обладать, чтобы, заметив в собственном, едва научившемся ходить карапузе признаки необычной увлечённости и заинтересованности музыкой, определить, что это — нечто большее, чем просто тяга ребёнка к несложным песенкам и приятному щелканью домашнего клавишника?

Какое, наконец, вдохновенное чутьё надо было иметь, чтобы услышать и узнать божий голос в мурлыкании подпевавшего скрипке мальчика? Как всерьёз надо было задуматься над любовью к музыке малыша, который в день, когда ему впервые сменили платице на панталоны, скрылся от гостей, ушёл в музыкальную комнату и, не видя клавиш из-за малого роста, на ощупь стал подбирать терции?

Леопольду было сложно не поддаться шутливому и скептическому мнению коллег и приятелей, также наблюдавших необыкновенные забавы трёхлетки, размазывавшего кляксы по нотной бумаге, барабанившего по ножке стола ритм только что отзвучавшего квартета и писавшего мелом ноты везде, где он ползал. Но Леопольд обладал очевидной решительностью: поучив его музыке года два с половиной (в объективном пересчёте — полжизни самого ребёнка), осмелился полностью изменить свою собственную жизнь: взял отпуск и пустился с двумя маленькими детьми не самого крепкого здоровья в длительное путешествие — в надежде внушить, передать, навязать миру свою жаркую веру в необычайный талант мальчика. Чего в этом было больше: расчёта, что вундеркинд принесёт доход, уверенности, что сын непременно перерастёт его как композитор и потому нуждается в известности, — или страсти открыть миру новый светоч?

Думается, что очень непросто далось Леопольду Моцарту это безумное, со всех сторон авантюрное решение: оставить службу, начать тратить сбережения, отказаться от стабильности устоявшейся жизни, домашнего стола, покоя, дохода, рискнуть собственной сложившейся карьерой — а ведь ему было что терять.

Знаменитый дом-музей, где родился Моцарт, не очень богат экспонатами. После узенькой лестницы — первая табличка: «Здесь была кухня семьи Моцарт». Далее — комнаты. Из подлинного — детский альт и скрипочка, письма, гравюры, книги, ноты... В запаянном стеклянном цилиндре — прядь волос Вольфганга и несколько тусклых перламутровых пуговиц с его камзола. Остальное — подобранная соответственно эпохе обстановка, мебель, картины, в нижнем этаже — процветающий сувенирный магазин. Но это было здесь, в этом доме, и что чувствуешь, когда оглядываешься в небольших комнатах, — про то рассказать нельзя. Здесь стояла его колыбель.

Собственно, Наннерль, старшая сестра Вольфганга, была первым подарком четы Моцарт миру и тоже вундеркиндом, но её единственное и решающее невезение было в том, что она родилась девочкой. Максимум, на что она могла рассчитывать, — это одобрительные похлопывания дамских вееров и наведённые на неё мужские лорнеты в салонах, да и то, пока не выросла из того возраста, когда музыкальная виртуозность считается забавной. Фройляйн должна музицировать, вышивать и писать томные акварели, но никому не интересно, что она с детства играет сложнейшие по тем временам музыкальные произведения, обладая редкими способностями, и её игра — далеко не любительское владение инструментом.

Отец учил её с любовью и терпением, но решил изменить жизнь всей семьи только тогда, когда уверился, что его младший ребёнок ещё чудеснее старшей дочери.

Детям исполнилось одиннадцать и шесть, когда они впервые надолго покинули свой дом. Перечислять их совместные и несовместные путешествия бессмысленно; в одном из музеев Моцарта есть карта Европы с загорающими после нажатия кнопки лампочками в тех городах, где Вольфганг побывал ребёнком, выступая один или с сестрой. Мерцание этих светлячков сливается в поистине Млечный Путь. Одни только названия заняли бы добрый лист бумаги. «Я список кораблей прочёл до середины»... Какой-то дотошный исследователь подсчитал, что, разъезжая семь непрерывных лет, Моцарт провёл в каретах около трёх лет чистого времени; там и рос, как царевич Гвидон в бочке.

Не знаю, верен ли этот подсчёт. В любом случае это сложно себе представить, не прожив.

Дети болели. У них случались запоры, катары, головные боли, ревматизм, тошнота — и всё это в разъездах. В некоторых городах их застигали эпидемии, они перенесли бесчисленные ангины, желудочные расстройства, воспаление лёгких, тиф, оспу, скарлатину. В один из визитов в Вену одиннадцатилетний Вольфганг из-за осложнения после оспы на девять дней был поражён слепотой. Однажды в Голландии пришлось задержаться непредвиденно долго: Наннерль была так плоха, что её соборовали... Но коммерческий проект отца не прерывался, пока возраст детей и его власть над ними позволяли поддерживать золотой поток.

Что было главнее для него, этого сложного человека, так рисковавшего жизнью и здоровьем своих горячо любимых детей: музыка или деньги? Он с горечью сознавал, что публика платит не за высокое искусство, которое она не в силах распознать, а за развлечение и фокусы, и именно потому, что их исполняет ребёнок. Судя по письмам к друзьям в Зальцбург, ему самому часто были тошны трюки, которые он заставлял сына проделывать на всех подмостках Европы; вся эта игра с завязанными глазами спиной к клавиатуре, закрытой полотенцем... Ведь он-то как никто знал и понимал, какой невероятный, редчайший талант живёт в мальчике! Могли ли это оценить маркграфы и курфюрсты, вполуха слушавшие маленьких Моцартов, отдыхая после охоты перед игрой в триктрак? Музицировали и почитали себя профессорами в гармонии тогда практически все. Через какие толпы важных особ продирался нестигаемый и упорный Леопольд, чтобы добиться аудиенции на самом верху, у императоров и архиепископов, которые в итоге могли обнаружить иные модные предпочтения! Сколько обязательных фокусов надо было продемонстрировать детям, особенно Вольфгангу, чтобы из сотен и тысяч, его выслушавших, попался наконец один понимающий! И кто мог им оказаться — свой брат музыкант? Вряд ли профессионалы были в восторге, видя явление столь мощного конкурента, а не видеть этого они не могли. Разве что не принимали мальчишку всерьёз.

Чего было ждать от остальных и на кого было рассчитывать, когда даже много лет спустя, выслушав такое совершенство, как «Дон Джованни», взятый театрал император Иосиф Второй сказал автору: «Дорогой Моцарт, слишком много нот».

«Больше всего меня заботит будущее детей, — писал Леопольд Моцарт в одном из писем в Зальцбург коллеге Хагенауэру. — Поймите, друг мой,

Всевышний одарил их необычайным талантом; если я сложу с себя попечение о них, это будет означать, что я отступился и от него. Потерянных мгновений не вернуть никогда, я и прежде понимал, сколь ценно время в юности, но теперь я в этом полностью убедился. Вам известно, что мои дети приучены трудиться. Они понимают: чтобы чего-то достигнуть, нужна железная воля».

Он не упоминает только одного: чья это должна быть воля. Самих детей? Железной воли Леопольда было хоть отбавляй.

И любовь его, и власть над сыном были огромны.

В чём часто заключается главный тезис родительского воспитания? В простых словах: «Будь таким, чтобы мне нравиться». Любящим и строгим родителям сложно вовремя поставить точку в многолетнем действии этой фразы, как ещё сложнее согласиться с тем, что ребёнок может стать таким, чтобы устраивать не только их.

Можно убедиться, что сын способен работать и содержать себя сам, можно принять и то, что молодой человек даже станет жить отдельно, если будет писать ежедневные отчёты о каждом своём движении, замысле симфонии или проведённом уроке.

Но как научиться самому перестать по привычке вынашивать планы и по-прежнему делать ставку на работу хорошо отлаженного механизма? Как остановить процесс в себе и выпустить из рук рычаг управления? Как согласиться с тем, что талант собственного сына перестал быть подконтрольным и идёт не по схеме, задуманной главой семьи, инициатором, создателем?

Вольфгангу было уже двадцать лет, когда он, гастролируя в Мангейме, взялся давать уроки пения юной Алоизии Вебер и влюбился настолько, что собрался везти её в Италию, дабы устроить там в оперу в качестве примадонны. Ради этого он решил отменить поездку в Париж. Его мать, сопровождавшая его в то время, успела сделать приписку к его посланию к отцу с сообщением новости. Леопольд был сокрушён известием. Первые же девичьи глазки и грудное legato опрокинули все его надежды. Он написал сыну пространный ответ, где внешне хвалил его за его доброту и готовность помочь начинающей певице, но на деле доносил до него главные слова: «Разве можно, забыв обо всём на свете, решиться на столь безумный шаг после того, что претерпели ради тебя все мы, и особенно твоя сестра, принёсшая в жертву свою карьеру?.. Теперь всё зависит от тебя одного: достигнешь ли ты величайших высот или останешься соблазнённым женщиной, заурядным капельмейстером, позабытым миром, и умрёшь на грязной соломенной подстилке в хижине, окружённый оборванными голодными детьми».

Вот так, и никак иначе. Какой размах у отцовского прогноза — и ни единого просвета в описываемом будущем! Это и называется манипуляцией, с раздачей ролей жертв и виновников, осознанно или нет. (Что-то подсказывает: осознанно, и весьма.) В этой поездке в Париж 1778 года, на которую согласился послушный сын, случилось непоправимое: после тяжёлой и до конца не определённой болезни умерла сопровождавшая его мать,

Анна-Мария. Леопольд Моцарт остался безутешным вдовцом и единственным владельцем сокровища.

В последующей переписке со всё более ожесточавшимся отцом, который был явно раздосадован утратой безусловных полномочий, Вольфганг часто заканчивает свои письма так: «Поскорей сообщите мне, что Вы мною довольны, ибо только этого мне и недостаёт теперь для моего полного счастья». Что отвечает отец, можно догадаться на примере других посланий. После конфликта Вольфганга с архиепископом в письме отцу прозвучали горькие слова: «Я не узнаю своего отца... Вы не можете одобрить моё поведение, это возможно... но Вы считаете, что я ещё не выказал Вам моей любви? И должен теперь же доказать Вам её? Как Вы можете говорить такое?»

Поселившись в 1781 году в Вене в доме всё той же семьи Вебер, сдававшей комнаты, и влюбившись на сей раз в младшую сестру Алоизии Констанцу, Вольфганг поначалу отшучивался в ответ на нравоучения и предостережения: «Я дурачусь и шучу с ней — ничего более... Если бы я должен был жениться на всех, с кем шутил, у меня было бы не менее двухсот жён», а потом всерьёз закликает: «Любимейший, дражайший отец, верьте и доверяйте Вашему сыну, который настроен самым лучшим образом ко всем честным людям. И почему бы ему не быть так же настроенному к его дорогому отцу и сестре? Поверьте ему и доверяйте ему более, чем некоторым людям, которые не знают ничего лучше, как клеветать на честных людей... Тысячу раз целую Ваши руки и остаюсь вечно ваш послушнейший сын».

Всем известно, что в шахматы играют не сами фигурки, хотя они и передвигаются по доске. После того, как в действие включилась другая любящая родительница, мадам Вебер, беспрекословному подчинению Моцарта отцу пришёл конец. Фрау Вебер потребовала, чтобы Моцарт женился на Констанце, и даже взяла с него письменное обязательство в случае его отказа выплачивать ежегодные пожизненные отступные (правда, есть сведения, что возмущённая Констанца бумагу у маменьки отняла и порвала). Свыше полугода Леопольд не давал согласия на брак, как ни умолял его сын. В августе 1772 года Вольфганг обвенчался с Констанцей в соборе Святого Стефана в Вене. «Лучший из отцов» на свадьбу не явился.

Новобрачные несколько раз откладывали поездку в Зальцбург. Они ждали первенца. Вольфганг упрашивал отца стать крёстным и сообщал о намерении назвать ребёнка в его честь, но Леопольд в своих письмах опускал эту тему, словно она не существовала, и ни разу не ответил хотя бы намёком на согласие. Такая же холодность ожидала молодую пару и во время состоявшегося наконец визита в Зальцбург. Констанце пришлось выслушать от тестя много воспоминаний-упрёков о бывшей дисциплине и труде, от которых Вольфганг теперь, похоже, совсем отвык. Ей были предъявлены бережно хранимые табакерки и медальоны от князей и императоров, подаренные ее мужу в детстве, но ни одной вещи не было предложено взять на память.

Отец и сын увиделись ещё один раз: стареющий Леопольд навестил Вольфганга в Вене, где откровенно произвёл полную и придирчивую инспекцию его заработков, трат, квартирных расходов и партитур. Обо всех его долгах и упущениях он отчитался в письмах к дочери, правда, похвалив фортепианные концерты сына.

Он посетил несколько публичных выступлений с исполнением его музыки и с наслаждением выслушал почтительные слова Гайдна после одного из концертов: «Кто знает: появился бы на свете такой композитор, как Вольфганг, не будь у него такого отца, как Леопольд?»

После этого до самой смерти, последовавшей в 1787 году, Леопольд не видел сына, который, считал он, так и не оправдал полностью его надежд. За любыми немногословными похвалами в его письмах следовали оценки: твои арии прекрасны, но очень трудны, пьесы приятны, но легковесны — и так без конца. Строгие родители не склонны хвалить своих детей, и эта программа воспитания пожизненна.

В доме-музее Моцартов на правом берегу (так называется второй музей Моцарта в Зальцбурге), где семья жила с 1773 года, есть любопытный экспонат: собрание всех сочинений Вольфганга Амадея. Тёмно-красные тома уложены друг на друга плашмя и сопровождаются шкалой в высоту: полметра, метр, полтора — подобно тому, как отмечают карандашом рост детей на дверной притолоке. Два с лишним метра музыки в высоту — раза в полтора выше, чем рост любого человека.

Могила Леопольда Моцарта находится на кладбище Святого Себастьяна. В соборе, где состоялось его венчание с Анной Марией Пертль, стоит купель, в которой крестили их божественного сына. Сочетание генов этой пары было таково, что два попадания из семи были безошибочны — двое выживших детей были гениальны. Подумать только, чего, может быть, лишился мир в лице пятерых умерших младенцев!

Там же, в соборе, — надпись, высеченная над алтарём: NOTAS MINIFECISTI VIAS VITA. Это конец пятнадцатого псалма Давида: «Ты укажешь мне путь жизни». Эти слова мог бы произнести не только Моцарт, благодаря Творца за вдохновение. Их мог сказать сын лучшему из отцов.

Майя Шварцман
«Скрипичный ключ» 2012, август, № 2 (37)

Михаил Юдовский

Родился в Киеве. Первую книгу («Приключения Торпа и Турпа») написал в соавторстве с Михаилом Валигурой. Книга была издана в 1992 году в издательстве «Эссе».

В том же 1992 году переехал в Германию (город Франкенталь).

В августе 2016 года в харьковском издательстве «Фабула» вышли на русском и украинском языке две книги прозы автора: «Сволочь» и «Богиня». Перевод на украинский сделал автор. Юдовский является лауреатом нескольких литературных премий, его живописные работы находятся в музеях, а также в частных коллекциях пятнадцати стран мира. Пишет как на русском, так и на украинском языке. В 2015 году закончил работу над переводом на русский и украинский языки всех сонетов Шекспира.

ТЕЛЕФОН

Не считая зеркала, более всего раздражает меня в собственной квартире телефон. То есть раздражает он меня, конечно, не всегда, а только когда звонит. Когда он молчит, я даже способен залюбоваться им. Он у меня, знаете, такой серебристый, местами чёрненький, с аккуратными кнопками, на которых ровно и чётко обозначены цифры и ещё какие-то значки, смысл которых мне не совсем понятен. Иногда я сижу и вглядываюсь в них, словно в древнеегипетские иероглифы, силясь разгадать их таинственную суть, и когда, как мне кажется, я уже близок к разгадке, подлый прибор начинает вдруг капризно и визгливо трезвонить. Я вздрагиваю, опасно кошусь на маленькое громогласное чудовище, наконец, вздыхаю и нажимаю кнопку с зелёной трубкой.

В Германии, в этой чужой, в общем-то, для меня стране я, оказывается, нужен очень многим. Я нужен банкам, которые, не зная меня, предлагают мне упомрачительные кредиты. Я нужен фирмам, торгующим пылесосами и зубными щётками. Без меня не могут обойтись всевозможные центры по изучению общественного мнения. Им до смерти любопытно узнать, что я, с изрядным стажем холостяк, думаю по поводу семьи и детского воспитания. Моего согласия упорно добиваются разнообразнейшие телефонные компании, чуть ли не сами готовые платить мне ежемесячно, лишь бы я воспользовался их услугами.

«Знаете ли вы наш тариф? О нет, вы не знаете нашего тарифа...»

Верно, не знаю. А когда узнаю — будет поздно.

Но чаще других желают заполучить меня какие-то лотерейщики. В этих людях, как мне кажется, осталось много детского — они хотят со мной играть.

«Давайте поиграем», — предлагают они.

Впрочем, будучи всё же людьми взрослыми, играть они предпочитают на деньги. Хотя разве то, что мне предлагается заплатить, — деньги? Вот то, что я несомненно получу, будут деньги, причём такие, что я ахну! Игра, конечно, дело увлекательное, и если бы не опасение ахнуть, я бы, пожалуй, сыграл.

В конце концов я, скрепя сердце, отказываюсь. Но лотерейщики не унимаются. Следом за одной компанией звонит другая, затем третья, четвёртая. Им всем нѣймѣтся осчастливить меня. Они рисуют мне соблазнительные картинки будущего: отели с пальмами, яхты с мачтами и ещё что-то с пропеллерами.

Иногда я думаю: откуда в Германии столько лотерей? Ведь если предположить на каждую по победителю, в этой стране все поголовно обязаны быть миллионерами! Однако лично мне миллионеры пока не попадались. Видимо, после того, как они выиграют свой миллион, их тайком отлавливают и отбирают выигрыш, а на изъятые устраивают новую лотерею.

Словом, я боюсь этих людей. По-моему, они за мною охотятся, хотя какая из меня добыча? Ей-богу, смешно! Кошку мною — и ту не накормить, если у этих людей есть кошка.

А недавно мне позвонили из какой-то совершенно новой Лейпцигской Лотереи, причём телефонирующий говорил почему-то на отъявленнейшем баварском диалекте, даже мне, иностранцу, очевидном.

— Вас беспокоят из Лейпцигской Лотереи, — сообщил скороговоркой порывающийся на букве «р» голос. — Мы проводим новую акцию и хотели бы...

— Лейпциг — это ведь в Саксонии? — невинно поинтересовался я.

— В Саксонии, — несколько удивлённо согласился на том конце. — Мы...

— И большой ведь город, — заметил я с каким-то почтительным восторгом. — Пожалуй, побольше Дрездена будет?

— Может быть, — немного нервно ответил голос. — Мы...

— Хотя столица — всё-таки Дрезден, так ведь? — продолжал уточнять я. — В смысле — саксонская столица?

— Дрезден, — убито подтвердил голос. — Наша компания...

— А вот я запоматывал: как называется церковь в Дрездене, такая, знаете, очень знаменитая?

— Не помню, — прорычала трубка. — Извините, но...

— А в Лейпциге тоже есть какая-нибудь достопримечательность? — полюбопытствовал я. — Скажем, та же церковь, а то и вовсе собор?

— Послушайте! — взмолились на том конце. — Мы, собственно, хотели предложить вам сыграть в лотерею...

— К сожалению, в лотереи я не играю, — вздохнул я. — Зато я играю в шашки. И даже в шахматы. В карты тоже играю, но редко. Обычно в преферанс. Вы играете в преферанс?

Но мой собеседник уже положил трубку, даже не попрощавшись. По моему, слухи об исключительной немецкой вежливости сильно преувеличены.

Я отложил телефон и снова залюбовался им. Молчаливый, был он удивительно мил и даже трогателен. На аккуратных кнопках ровно чернели циферки и ещё какие-то непонятные, таинственные значки. Я взгляделся в них, всем сердцем желая постигнуть их каллиграфическую мистерию, словно вслед за нею мне тотчас бы открылись и прочие секреты бытия...

Телефон почувствовал мой интерес к нему и немедленно зазвонил.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Большого сноба я в жизни не видывал. Покрытый с ног до головы нержавеющейкой, он, кажется, воображает себя рыцарем в доспехах, а чёрную крышку носит так, словно епископ тонзуру. Свой крохотный, невыразительный носик он задрал чуть ли не к потолку. Когда я включаю его в розетку, он сперва пренебрежительно косится на неё, а затем обводит всю комнату с таким видом, точно безо всяких дурацких поцелуев только что овладел Спящей Красавицей. После чего поворачивается в мою сторону и роняет презрительно:

— Что? Чайком решили побаловаться? Или кофейку откусать? Кофе, конечно же, растворимый, а чай — из пакетиков? Тьфу!

Тут он начинает плевать, шипеть и закипать изнутри, но не от ярости, а всё от того же презрения ко мне.

Когда я наливаю из него кипящую жидкость в чашку, он фыркает и бормочет достаточно громко, чтобы прочая кухонная утварь его слышала:

— Берите! Пользуйтесь! Наслаждайтесь плодами трудов моих! Благодарности от вас всё равно не дождешься, но такова уж моя судьба — отдавать другим всё, ничего не получая взамен.

Даже самую малость он не способен сделать беззвучно — в нём клочет чувство внутренней справедливости, требующее оценить по достоинству его бескорыстную деятельность. Кастрюли, сковородки и казанки вызывают в нём раздражение.

— Удивительная нечистоплотность, — сокрушается он. — Уж лучше сидеть на одной воде, чем перемазаться в соке невинно убиенного мяса и живьём сваренных овощей!

Большой моралист, он весьма высокого мнения о себе, и маленькая подставка с электрическим шнуром его решительно не устраивает.

— Могли бы соорудить что-нибудь повнушительней, — ворчит он. — Вон, миксер, только и умеет, что тарыхтеть да вертеть винтом, точно гулящая девка задом, а гляди на какую верхотуру взобрался! Нет, господа-товарищи, нет и не будет в этом мире справедливости!

Когда о нём на время забывают, он стоит нахохлившийся, потускневший от обиды, делая вид, что ему наплевать на всех и вся. Но стоит мне захотеть кофе или чаю — как он оживает вновь, наливаясь самодовольной влагой и свистит через вздёрнутый нос:

— Берите! Пользуйтесь! Эксплуатируйте! И благодарности вашей мне не надо! Я знаю, в каком несправедливом и подлом мире мы живём. Меня не проведёшь. Не проведёшшшшш!..

Однажды, вконец измучившись его высокомерием, я приобрел медную джезву и пачку свежемолотого кофе. Я засыпал в джезву кофе, долил воды и поставил на огонь — вернее, на электрическую конфорку. Чайник надуту следил за моими манипуляциями, как всегда презрительно вздёрнув нос. Кофе получился вкуснее обычного, и с тех пор я стал регулярно готовить его в джезве. Чайник тускнел от злобы, крихтел на своей электрической подставке — его наверняка подмывало сказать какую-нибудь нравоучительную гадость, но он молчал, блюдя уязвлённое самолюбие. В конце концов, случилось то, что должно было случиться у человека, патологически не умеющего обращаться с предметами: видимо, я чересчур раскалил плиту — на джезве лопнул обруч, верхняя половинка отскочила от нижней, обдав недоваренным напитком кухонную плиту и чайник. Ещё никогда я не видел его таким грязным и таким счастливым! Радость буквально переполняла его, скакала бликами по его металлическим бокам, запачканным кофейной жижей, а весь вид словно говорил: «Вот! Вот оно! Ну, как кофеёк? Из турочки-то? Вкусно, небось? То-то! Теперь поняли, что вы все без меня?»

Стараясь на него не смотреть, я залил в него воду — с необычайной виртуозностью он вскипятил её в одну минуту и, пока я мрачно пил чай, наблюдал за мной. Молча. Со злорадством. С торжеством. С чувством удовлетворенной мести и собственной правоты, от которой ароматнейший чай показался мне вдруг отвратительнее, чем помои.

КРОВАТЬ И ДУШЕВАЯ ЗАНАВЕСКА

Я делаю всё, чтоб они не узнали друг о друге, и пока мне это с лёгкостью удаётся. Благодаря то ли моей ловкости, то ли планировке квартиры пути их не пересекаются. Несхожесть их характеров удивительна. Кровать надёжна, основательна и преданна. Она умеет прощать. Целыми днями я позволяю себе шляться где угодно, зная, что всегда могу попроситься к ней на ночлег. Она не откажет. Она будет укоризненно скрипеть пружинами, сделается вдруг жёсткой и неудобной, измучит меня бессонницей и угрызениями совести, но отходчивость в конце концов возьмёт в ней верх, и мы уснём, нежно прижавшись друг к другу.

Душевая занавеска не такова. Она изящна, легкомысленна и безразлична. Свидания наши хоть и часты, но коротки, как собачьи случки. Мы легко встречаемся и легко расстаёмся. Мне и в голову не придёт остаться у неё ночевать, а ей — меня удерживать. Иногда она изображает из себя ревнивицу:

когда я раздеваюсь и залезаю к ней под душ, она тут же отгораживает меня от прочего мира, словно желает подчеркнуть, что имеет на меня особые права — например, видеть то, что другим видеть не положено. Действует она быстро и решительно. Я ещё стою под душем с нашампуненной головой и зажмуренными глазами, а она уже начинает лгнуть к моему телу.

— Сдурела, что ли? — грубовато одергиваю я её. — Дай хоть помыться!

Она хихикает в ответ и, разгорячённая паром, приклеивается ко мне ещё плотнее.

Когда всё заканчивается и я, выбравшись из-под душа, облачаюсь в халат, она, отяжелев от капель и осоловев от пара, наблюдает за мной и равнодушно осведомляется, позёвывая и позвякивая подаренными колечками:

— Куда? Снова к этой своей?

— К какой ещё «этой»?

— Ну, не знаю... К какой-нибудь.

— Ладно, всего хорошего.

— И тебе не болеть. Забегай на днях.

— Забегу, куда я денусь.

Я отправляюсь в спальню и осторожно присаживаюсь на кровать.

— Ты где был? — скрипуче интересуется она.

— Так, гулял.

— А почему ты мокрый?

— Под ду... под дождь попал.

— Что-то я никакого дождя не слышала.

— Слушать надо было внимательней.

— И не видела. Между прочим, окно в спальню было весь день открыто.

— Много ты вообще видела в своей жизни! — огрызаюсь я, отлично сознавая свою неправоту.

Некоторое время она молчит. Затем снова спрашивает:

— А почему ты в халате?

— Промок — вот и переделся, — раздражённо отвечаю я, сбрасываю с себя халат и ложусь в постель.

— От тебя пахнет шампунем, — замечает она.

— Скажи ещё, что я шампуня напился! — окончательно выхожу я из себя. — Тебе что, доставляет удовольствие меня мучить?

— Кто кого мучает, — вздыхает она.

— Ладно, — бурчу я невнятно. — Давай-ка спать. Что-то я сегодня устал. Спокойной ночи.

Разморенный горячим душем, я и в самом деле начинаю быстро дремать, и когда я уже почти засыпаю, кровать неожиданно и очень больно вонзается мне в бок пружиной.

— С ума сошла?!

— Скажи мне, — надломленным голосом спрашивает она, — ты в самом деле нигде не был?

— Как это я могу нигде не быть? — отвечаю я зло и сонно. — Я ведь не в безвоздушном пространстве существую.

— Я имею в виду... Ты прекрасно понимаешь, о чём я.

— Ничего я не понимаю. И ничего не хочу понимать. Я спать хочу.

— Ну, спи.

Но заснуть я уже не могу. Я чувствую себя неуютно, точно на прокрустовом ложе, подушка кажется мне твердокаменной, а простыня врезается в тело, как железнодорожное полотно.

— Ладно, — говорю я кровати, проворочавшись часа полтора. — Прости. Я был неправ. Я не хотел тебе грубить и обижать тебя. Честное слово.

Кровать что-то неразборчиво шуршит в ответ.

— Пойми ты, — продолжаю убеждать я, — весь этот мир, там, за окном, — одна видимость. Не нужно ревновать к нему. Главное — что каждую ночь я прихожу к тебе. Ты ведь помнишь, какие сны нам снились, одни на двоих! Разве можно сравнивать с ними вот это? — Я делаю пренебрежительный жест в сторону окна, одновременно прижимаясь к кровати щекой. — А кто знает меня лучше, чем ты? Тебе ведь известна каждая родинка на моём теле, каждый волосок на нём. Разве можно быть такой дурочкой?

От этого грубовато-ласкового слова она окончательно тает.

— Ну, мир? — улыбаюсь я. — Будем спать?

— Будем спать.

Тут же подушка волшебным образом превращается в лебяжий пух, а простыня — в розовый лепесток. Я засыпаю, и верная моя кровать засыпает вместе со мною. Прижавшись друг к другу, мы точно становимся одним телом и даже одной душой с одними на двоих снами. И мне остаётся разве что молить Бога, чтобы в этих общих снах не появилась вдруг откуда-то из глубин подсознания душевая занавеска.

Даниил Чкония

Даниил Чкония — уроженец Порт-Артура. Жил в Мариуполе, Тбилиси, Москве, с 1996 года — в Кёльне. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Член Союза писателей с 1976 года, ныне — член СП Москвы и Русского ПЕН-центра. Член жюри нескольких международных фестивалей поэзии. Автор одиннадцати книг стихов. В 2015 году поэту присуждена премия имени В. Сирина (Набокова), в 2016 году за книгу «Стихия и Пловец» — Русская премия в номинации «Поэзия».

бакенщик

он духарик и в семь узлов
он несётся и плещет влага
всем на зависть и всем назло
на трепещущий кончик флага
ох и любит он по утрам
сам с собой затевая скачку
всем устраивать тарарам
гнать на дальнюю водокачку
мы и злимся но нам-то нам
что за дело до гонок этих
пусть летит себе по волнам
в этом раннем багровом свете
он уймётся только тогда
как не станет глядеться в оба
вот и нате пришла беда
и стоим у простого гроба
ветер плакал над ним и выл
укорял мол неосторожный
он-то бакенщик классный был
и мужик что кремень надёжный
и спустя три десятка лет
набредя на его могилу
вспомнил я катерок «Привет»
наголоватый полёт и силу

выброс утреннего рывка
после душной и горькой ночи
до похмельной кружки пивка
до тоски одинокой волчьей
встретил местных и молодых
развели в неведение руки
был ты не был Иван Седых
долетают мотора звуки
всё мне кажется: вдаль гоня
лихо он подлетает к пойме
вот не станет когда меня
кто Ивана на свете вспомнит

и когда и куда бы ни ехал
всё казалось дорога одна
и всю куролесило эхо
если полночь была холодна
только пригород видом барачным
и мерцаньем приглашенных сот
оставался печально невзрачным
как обломок современных высот
и дрожали от стужи белёсы
истончённые тяжестью дней
исхудалые бабы-берёзы
среди редких в тумане огней
и казался уныло похожим
снег ползущий по жёлтой траве
тем случайно мелькавшим прохожим
согревавшим ладонь в рукаве

верёвкою толстой обвяжем
на дальнюю полку положим
ищите ищите пропажу
кричите кричите прохожим
от пота сыреет одежда
как будто нас криком пытали
а что там на полке? надежда
разобранная на детали

Елена Андрейченко

Родилась в Алма-Ате. Кандидат филологических наук, доктор, лектор Национального Афинского университета им. Каподистрии. С 2008 года живёт в Афинах. Автор более двадцати научных работ в области теоретической русистики. Сфера научных интересов: лексикология, лексикография, история русского литературного языка, история греческого языка, теория и практика перевода, стилистика, языковые и экстралингвистические связи России и Греции, преподавание русского языка как иностранного. Занимается переводами с греческого. Пишет прозу.

БЕЛОЕ НА СИНЕМ

(отрывок из романа)

Продолжается путешествие наших героев. Путешествие их души и сердца. Читатель встретится с памятью героев, которая хранит так много....

Андреас внезапно вспомнил, как второй раз в своей жизни увидел Нину. Это было ранней зимой в том далёком 20... году. Президент их компании давал торжественный приём в честь десятилетия работы фирмы и пятилетия присутствия на евразийском рынке. Для проведения банкета был снят круглый зал на втором этаже гостиницы, куда вела великолепная лестница. Андреас пришёл на приём заранее, так как нужно было обсудить некоторые вопросы с сотрудниками фирмы перед завтрашним вылетом на Мальту. Зал постепенно заполнялся людьми. Это были молодые, зрелые и совсем уже в годах приглашённые. Некоторые из них входили в зал парами, где мужчина вёл даму под руку. Дамы, в свою очередь, кто сверкая платьями, а кто и бриллиантами, входили в зал и начинали рассматривать богатое убранство стола с закусками и напитками, а также присутствующих гостей.

У Андреаса была возможность вволю насладиться такого рода бездельем, а именно — в течение первого получаса разглядывать входящих, ещё в течение получаса пообщаться с нужными людьми и отправиться на заслуженный отдых перед командировкой.

Гости продолжали входить, степенно здороваться с президентом, брали бокал вина и растворялись в круглой глубине зала. Прошло минут пятнадцать, как взгляд Андреаса остановился на господине в смешном галстуке. Аксессуар был выполнен в тёмном цвете с крупными голубыми горошинами.

«Надо же, — подумал Андреас, — я думал, такое носят только женщины. Хотя...» Его мысль прервала женщина.

По лестнице уверенной походкой поднималась дама в расклешённой шубе из чёрно-бурой лисы. Андреас, видевший в своей жизни довольно много женщин в мехах, не мог себе представить, что так элегантно такой роскошный мех может сидеть на столь хрупкой женщине. Голова дамы утопала в шикарном воротнике, было заметно, как из распахнутого меха струилось платье малинового бархата. Справа от неё, на один шаг позади, шёл высокий господин с ярко выраженной славянской внешностью. Андреас никогда не встречал его ранее. Ширина плеч, прямота взгляда напоминали богатыря из всеми нами любимых сказок. Трудно было определить его возраст. Его стать не могла иметь этой характеристики. Слева от этой, по мнению Андреаса, красавицы одновременно и тоже на шаг позади шёл другой высокий господин — по виду западный европеец. Андреас улыбнулся, узнав в нём своего дорогого друга Марселино. Последний был как всегда чопорен, но при виде Андреаса на лице его расплылась улыбка.

— Здравствуй, друг!

— Здравия желаю, дорогой Марс! Как поживаешь?

— Отлично!

— Познакомь меня со своей прекрасной спутницей, пожалуйста, — Андреас ни на секунду не отводил взгляд от дамы.

— С какой спутницей? Я пришёл совершенно один.

Произошло некоторое замешательство. Женщина успела удалиться в глубину зала. Мужчина-богатырь остался в стороне и, похоже, уже вёл беседу с каким-то приятелем. Андреас растерялся, но всё же спросил:

— Та дама, которая шла рядом с тобой?!

— Та, что была в чернобурке? Да, я тоже обратил на неё внимание. Вон она, в глубине зала — наверное, уже была в гардеробе. Теперь на ней только платье.

— Жаль, что в гардеробе сдают только верхнюю одежду! — пошутил Андреас.

— Что касается её, я тоже об этом сожалею, — в нём загорелась итальянская горячность, разогретая испанским солнцем.

— Так кто она, Марселино?

— Понятия не имею. Я её вижу в первый раз, так же как и ты. Давай спросим у моего знакомого Живко.

— А где он?

— Там, видишь высокого широкоплечего мужчину. Это мой давний знакомый, дипломат из Сербии. Насколько я понял, они шли рядом.

Друзья переместились на несколько метров.

— Разрешите, — Марселино обратился к кучке мужчин и женщин, разговаривавших между собой. — Разрешите украсть у вас на пять минут моего давнего знакомого.

— А-а-а! Здравствуй, Марселино!

— Здравия желаю, Живко! Ты как всегда полон жизни и сил, чему совершенно соответствует твоё имя.

— Да, недавно вернулся из Карловых Вар. Была приятная оздоровительная поездка.

— Позволь представить: мой старинный друг из Греции.

— Здравствуйте, рад знакомству, — поздоровался Андреас, элегантно кивнув головой. Господа пожали друг другу руки.

— Здравствуйте, тоже очень рад. Как приятно, что люди из разных стран могут говорить по-русски! Правда, это объединяет?! Как вы, из далёкой Греции, страны бывшего несоциалистического лагеря, добились таких успехов?

— О! Это долгая история. Как-нибудь я расскажу вам.

— Да-да, Андреас обязательно расскажет, но в данный момент времени его голова занята совсем другим вопросом, — вмешался Марселино.

— Марс, не надо так сразу.

— Но мы же хотели узнать. Вот сейчас и узнаем. Живко, признавайся: кто твоя прекрасная спутница?

— Какая спутница? — удивился Живко. У него чуть поднялась правая бровь. — Я сегодня без супруги, она вернётся только на следующей неделе.

— Та женщина, что шла немного впереди меня, но рядом с тобой, когда мы входили.

— Она шла так же рядом с тобой, как и со мной. Собственно, ещё перед входом я хотел с тобой поздороваться, как вдруг появилась эта весьма решительного вида особа, разделив нас. Так мы и вошли сюда.

Андреас понял, что это оказалось чистой случайностью. Она не была знакома ни с тем, ни с другим. А смотрелась на их фоне очень даже неплохо. Они — как два рыцаря, как два воина, как две нерушимых стены — словно оградили её от возможных неприятностей.

«Да, возможно, познакомиться так и не удастся», — подумал Андреас. Но всё же нужно будет найти удобный момент или случай.

А таинственная незнакомка Нина, в свою очередь, беседовала с директором греческого культурного центра в Москве. За несколько лет знакомства директор центра сблизилась с Ниной. Евгения Петровна имела филологическое образование и боготворила русскую культуру, особенно балет. Очень подолгу любила беседовать с Ниной на темы взаимного влияния греческой и русской цивилизаций. Нина же, действительно, совершенно очаровательная в тёмно-малиновом платье, которое было ей удивительно к лицу, с бокалом вина того же цвета за лёгкой беседой обратила своё пристальное внимание на стройного высокого господина в безукоризненном костюме, коим был Марселино. Оценивающим взглядом она успела оглядеть всех, заметив славянского богатыря — Андреаса, — которому, как она сразу догадалась, очень понравилась. И именно он сразу запал ей в душу, именно его голубоглазая красота напомнила ей строки Сергея Есенина

«Страна берёзового ситца...», хотя она поняла, что он явно не представитель русского раздолья лесов и степей. Она почему-то сразу была готова познакомиться с ним. Нина удивилась смелости своих мыслей — ей хотелось почему-то даже обнять этого господина и подёргать за торчком стоящие волосы на голове. А этот интересный его друг ей чем-то напомнил или даже представился готическим собором — холодным и строгим, пленяющим и карающим, охлаждающим и пьянящим одновременно. Андреас ей казался мягким, как своды византийского храма, гибким и строгим, как иконописный образ, широким и душевным, как центральный купол храма.

Сама того не подозревая, только через внешнее восприятие Нина дала чёткое понимание двух этих людей, таких разных и пока для неё далеких.

Нина часто вспоминала эту встречу через много лет, каждый раз при этом обнимая Андреаса и дёргая его за волосы так, как она хотела это сделать в тот первый миг, когда они пересеклись взглядами.

Между этим мгновением и их объятиями прошло немного времени, но случилось много событий. Теперь они уже не имели никакого значения. Но приятное послевкусие правильности выбранного решения сопровождало Нину всегда. Она никогда не смогла бы отказать ни от «Страны берёзового ситца», ни от византийских куполов, которые в её сердце и сознании в какой-то момент совпали, а строгость и чопорность готического собора остались где-то вдалеке без права приближения.

— Ты помнишь, Андреас, помнишь, как ты пошёл за мной тогда?

Она спрашивала его вновь и вновь, всегда подёргивая за кончики волос. Это удивительное чувство гармонии, согласия духовного и телесного, не покидало Нину никогда.

— Помнишь, Андрей, помнишь монастырь Святого Саввы Освящённого?

— Помню, — с душевным трепетом ответил Андреас.

Палестина. Лучи невыносимо палящего солнца сожгли всё, что можно было сжечь. Человеческому глазу не за что «зацепиться». Каменная пустыня раскинулась на многие километры. Иногда взглядом выхватывается некая сверкающая точка; если приглядеться более пристально — это купол какого-либо православного храма, обычно позолоченный на подношения паломников из России.

Дорога к монастырю Преподобного Саввы Освящённого идёт по каменным холмам, которые можно назвать горами. И вот, наконец, берёт крутой спуск, два поворота — и путник у врат монастыря. Вратами является низкая дверца; чтобы войти в неё, нужно обязательно нагнуться — так сказать, унять своё высокомерие и спесь, которые довольно часто проявляются в каждом из нас. В скале, расположенной напротив, видны некие отверстия — это пещеры первых монахов-отшельников, появившихся здесь в V веке после Рождества Христова. Они приходили сюда, скрываясь от греха и суеты, образуя Киновии. Они оставили после себя более пяти тысяч пещер, которые тянутся вдоль Кедронской долины до берегов Мёртвого моря. Монастырь был основан в том же веке.

Было около десяти часов утра. Нина и Андреас постучались. Минуты через три к ним вышел монах — отец Александр. Нина знала, что ей

вход в этот мужской монастырь воспрещён. Андреас же, кланяясь, прошёл под низким сводом и исчез в глубине святой обители. Нина осталась у врат.

— Хотите я вынесу вам святые мощи? — учтиво спросил отец Александр.

— Да-да, благодарю, — ответила Нина. Разговор начался на греческом языке, именно так учтиво и неторопливо.

Монах скрылся под сводом и вновь появился минуты через две с драгоценной ракой. Нина перекрестилась и совершила поклонение.

— Хотите чашечку кофе? — вновь очень учтиво спросил монах.

— Спасибо, не откажусь, — был ответ Нины.

Монах вновь исчез и вновь появился с ароматным кофе. Они присели на древние каменные скамьи при монастырской стене. О чём они беседовали, знают только они и Господь Бог. Аромат этого крепкого кофе напомнил Нине об уже до боли родной Греции.

(Продолжение следует.)

ПЕРЕВОДЫ

В продолжение уже сложившейся традиции на суд уважаемого читателя предлагается стихотворение **Христора Контунисуа**.

БОЛЕРО

*Представление образа великой классической
русской балерины Майи Плисецкой
после постановки «Болеро» Мориса Равеля*

Преображение в душу
Горячее дыхание моё оживляет,
Проверяет поджилки мои.

Разрушил плотину из звука и света,
как священный огонь движения.
Даровал бесценное невозвратимое —
точность строгости моей.

Вольная воля, как Ифигения
На арене старания.
Определил точно стать свою,
Верные влюблённые в Терпсихору.
Вздых сладкоголосый утих.

(перевод Елены Андрейченко)

Людмила Клёнова

Место рождения и учёбы — Харьков (Украина). Окончила Институт искусств. Профессиональный музыкант, пианистка. В 1999 году репатриировалась с семьёй в Израиль. Место жительства — Ашкелон. Член Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России, зарубежное отделение. 9 изданных сборников поэзии и прозы, публикации в израильских и международных альманахах. Сотни концертных выступлений. Более четырёхсот песен и романсов написаны на стихи Л. Клёновой музыкантами России, Украины, Казахстана, Израиля, США, Германии.

ПЕЙЗАЖИ ИЗРАИЛЯ

Всесильны зов и тайна Тимны*,
Чей беспощаден с ветром спор —
Здесь так немислимо взаимны
Цвета небес, песков и гор!

Какая мощь природы дикой
В изгибах вздыбившихся скал!
Кто воли жаждою великой
Скульптуры эти высекал?

Кто охрой яростной заката
Окрасил гор седых бока —
На чёрной тени циферблата
Времён, протекших сквозь века?

Какая сила неземная,
Красой нездешнею маня,
Вулканы срезала по краю,
Камням оставив цвет огня,

А тонкой прорези столетий —
Следы исчезнувших светил

* Тимна — грандиозный пейзажный парк (пустыня и скалы, знаменитые Столпы Соломона) на юге Израиля, недалеко от Красного моря.

И лунный блик, что горы эти
Дождём опаловым омыл?..

...Пустынный зной стоит на страже —
В объятьях каменных громад...
И марсианские пейзажи
Сквозь зыбкость Времени глядят...

АПРЕЛЬ ПО-ИЗРАИЛЬСКИ

Вот и кончилась наша весна...
Малахит догорает на травах,
Ветер знойный, почувствовав право
Всё сжигать, хулиганит сполна.
И меняется цвет пустырей,
Потеряв изумрудную гамму,
Но довериться птичьему гаму
Каждым стеблем спешит поскорей —
И разносятся щебет и свист,
И спешат деловито гекконы...
Здесь апреля иные законы
Льются жаром в восточной крови...

Отчего же тогда, не понять,
Эта грусть — словно с чем-то прощаюсь?
Нежных маков моих одичалость
И сожжённость — в душе у меня,
А на сердце — нетающий лёд:
Ведь весна ещё только в разгаре —
Календарно. Зачем же так старит
Жар пустыни счастливый полёт
Устремлявшихся к свету ростков,
Оживавших отважно растений?
Но ложатся горячие тени,
Бархат трав хороня глубоко...

Как безжалостен ветер пустынь!
Жалит адским своим поцелуем —
И рисует реальность иную,
Расплавляя небесную синь.
Лето долгое (мне ли не знать?)
На полгода простор коронует...
Но, как маки, сгорая, храню я
Веру в то, что вернётся весна...

ИЗРАИЛЬСКИЕ БУДНИ**СОЛДАТСКАЯ ФОРМА**

«Нападение, по данным полиции Израиля, было совершено в автобусе. Подросток накинулся с ножом на 18-летнего солдата, когда автобус, следовавший из Назарета, остановился в городе Афула. Раненый умер в больнице, куда его доставили в критическом состоянии».

«Поздно вечером в среду, 13 ноября, в Нацрат-Илите состоялась похороны военнослужащего ЦАХАЛа Эдена Атиаса, убитого палестинским арабом в автобусе в Афуле».

Из сообщений СМИ Израиля

Он даже месяц в армии не пробыл...
Он только-только начал привыкать
К тому, что форма — это знак особый
Для всех вокруг: ценить и уважать...
Такой тяжёлой выдалась неделя...
И задремал в автобусе солдат...
А рядом сел араб... Но неужели
И боги все в такое время спят?
Осатаневший нож кромсал мальчишку...
И не спасли умелые врачи...
Наверно, форма — знак, особый слишком
И для арабов — днём или в ночи...

Зачем?.. За что?.. За то, что форму носит?
За то, что служит родине своей?
И кровью всех незадачных вопросов
Всё рвётся крик сквозь слёзы матерей...
Израиль нынче мальчика хоронит —
В армейской форме... Спи, сыночек, спи...
Тихи оливы седеющие кроны...
Но только боли огненный рапид,
Всё расширяясь, к Богу рвётся — круче...
И вновь Абама просит — потерпеть...
Но зверь — с рожденья ЗВЕРЬ — его ТАК учат,
И здесь в арабе зреет, зреет смерть...

Но говорят, что капля точит камень...
И мой порыв меня не удивил:
Я б задушила голыми руками
Зверёныша,
Что мальчика убил...

15.11.13

ДЕНЬ ПЯТЫЙ... 18.11.12

Начинается утро совсем не с рассвета,
А со скулы сводящей протяжной сирены...
Заполошно срываются птицы — и с веток
Осыпаются вниз, затаившись мгновенно
В чуть оживших под первыми ливнями травах...
И уже остановлена жизнь — полминуты,
Чтоб на взвившийся «град» отыскалась управа...
А паденье аукнется горем кому-то...

И опять... и опять этот режущий душу
Невидимый вой, обрывающий сердце...
Тихо взвизгнет мой пёс... Чутко подняты уши —
И прижмётся плотнее — спасти ли, согреться ль...
Как назвать это время? Какою войною?
Близкий гул канонады ложится на плечи...
...А в минуты,
одаренные
тишиною,
Так светло, так бесхитростно птицы щебечут...

СЕГОДНЯ. 9 ИЮЛЯ 2014

Сегодня утренние птицы молчаливы.
Одна ворона глухо каркает... Молчи!
Чуть-чуть дрожат уже не спящие оливы,
Да чуть тревожней сердце чуткое стучит.

Как сразу стало малоллюдно и пустынно...
И тишина, как тетива, напряжена.
Не слышно гомона детей. И, сгорбив спину,
Застыла пальма, словно вдовушка — одна...

Всю ночь красиво так мигали самолёты,
Лишь проблесковым маячком сверкнув ветрам.
Но их бессонные военные заботы
Нам дали выспаться спокойно до утра.

А утром — вновь волна сирен. Не спится, Газа?
От воя вздрогнули как будто облака...
Мне на работу. Проскочу. Да первый раз ли...
О, мой автобус... Ну, до вечера! Пока...

ПРОГУЛКА ПО АШКЕЛОНУ

Белоснежный мой, давно любимый город,
 Рай пейзажный, утешение для глаза...
 Но сирены звуком сон твой чуткий вспорот...
 Кто ж виной тому, что рядом — сектор Газа?

Полминуты... Вой, паденье... В «градах» площадь.
 Это рядом. Очень близко... Все — под Богом...
 А у моря детвору катала лошадь...
 И пред штормом этот мир такой убогий...

Ты ведёшь меня в сады Семирамиды,
 Окольцованный дорогой — в глубь столетий,
 И на стёртой мостовой, выдавшей виды,
 Всё резвится нескончаемое лето...

...А счастливый Ашкелон в руладах птичьих
 Всё парит, не забывая прошлой смуты...
 Но — сирена... Снова... Мы уже привычны.
 Ничего — у нас всегда есть полминуты...

ИЗРАИЛЬ

Ты — поцелуй волны и пустыни;
 Горечь объятья вечности с мигом;
 Камень в оправе солнца и сини;
 Тысячи лет раскрытая книга.
 Тысячью свеч в обители ночи
 Светят тебе шабатные звёзды...
 Памяти эхо беды пророчит...
 Так и живёшь ты — смехом сквозь слёзы...

Синее небо просит покоя;
 Синие волны — мудрости свиток;
 Синее с белым — флаг над тобою —
 Синим сияют Звёзды Давида...

Пишут цветами вёсны в пустыне,
 Солнечным светом с морем играя,
 Краткое слово, буквы простые,
 Тёплое имя —
 Имя —
 ИЗРАИЛЬ!

Хрупкая завязь противоречий,
 Судеб слияние — горьких и странных...
 Только ЖИВИ! Юный и вечный
 Рыжей пустыни маленький странник...

Елена Игнатова

Елена Игнатова — поэт, прозаик, киносценарист. Родилась в Ленинграде. С начала 1970-х годов публиковалась в изданиях самиздата, с 1975-го — также в изданиях русского зарубежья. Автор шести поэтических книг и книг прозы «Записки о Петербурге» и «Обернувшись». Сценарист документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989). Стихи переведены на немецкий, шведский, польский, английский, французский языки, вошли в русские и зарубежные антологии русской поэзии XX века. Лауреат премии В. Сирина (Набокова) 2017 года.

ОПАСНЫЕ ЗНАКОМСТВА

— С Довлатовым знакомиться не советую, — говорила мне подруга, подкрашивая и подправляя ресницы.

— Почему?

— Потому что не надо, — невнятно пояснила она, плюнув на тушь. — Человек опасный... Посидишь с ним вечером... а потом он расскажет... что ты его любовница... или что триппер от тебя подцепил...

И широко раскрыла глаза, разглядывая себя в зеркало. Думаю, мои глаза раскрылись ещё шире. У подруги была репутация легкомысленной красавицы, но я знала её трезвый, цинический ум и прислушивалась к советам. И избегала опасного знакомства, встречая Довлатова в общих застольях.

В 60-е годы многие молодые писатели нашли прибежище в детской литературе: сочиняли сказки, пьесы для кукольных театров, печатались в пионерских журналах. Так, в Союзе писателей появились авторы историй про лягушат, пионеров, медвежат — авторы, которые хотели бы писать совсем о другом. О правде жизни — такой правде, чтобы у читателя почернело в глазах. Но они откладывали главный труд на потом или писали урывками, и в глазах чернело не у читателей, а у них самих — пили по-страшному.

В первый раз я увидела их компанию в ресторане Дома литератора: за сдвинутыми столами пировали громогласные, воспалённые, опасные люди. Рёв, хохот и топот, доносившиеся из их угла, перекрывали весь остальной шум.

— Кто это?

— Детские писатели.

Одним из разгулявшихся «троллей» был Сергей Довлатов.

А через несколько дней я случайно встретила его на улице. Сергей шагал по раскисшему снегу с собакой на поводке, сосредоточенная печаль на его лице свидетельствовала о похмелье. Он был сумеречен и расслаблен, а собака суежилась, выбирая островки суши, однако двигались они вполне слаженно. Сергей всегда выглядел колоритно. И в тот раз: в коротком пальто и старых тренировочных штанах, с собакой ростом чуть выше его сапог, он походил не на начинающего писателя, а на актёра Несчастливцева из пьесы Островского.

Я с благодарностью вспоминаю литературную атмосферу 60-х годов, с её жёстким делением на добро и зло, порядочное и непорядочное, со стойким неприятием всего чужеродного. Я любила писательские квартиры, где пахло книжной пылью, а на стенах висели картинки и фотографии. Снимки комаровской зимы, люди в добротных пальто и каракулевых шапках, немолодые, важные лица. Иногда в группе была Ахматова — грузная и величавая, как Екатерина II. Я любила небогатые застолья в этих домах и то, как гость одобрительно замечал: «Вполне интеллигентная селёдка». И нескончаемые разговоры о борьбе правых и левых в Союзе писателей.

Правых возглавляли матёрые, крепко пьющие комсомольские хулиганы тридцатых годов. Эти старики с фарфоровыми зубами и их окружение неутомимо враждовали с левыми. На пленумах и собраниях схлёстывались молодые острословы, Эткинд, похожий на изрядно потрезвевшего Дон-Кихота, хрупкие поэты со склонностью к депрессии и прямодушные поэтессы — и племя коротконогих, задорных людей, всегда готовых к скандалу. Однако их борение обходилось без жертв и если напоминало «Дон-Кихота», то балет, где пируэты танцора отрепетированы и не мешают партнёрам.

Но был в Ленинграде другой литературный мир — по-настоящему трагический и страшный. Не андеграунд, за носовым «н» которого чудится лондонская подземка с поездами и турникетами, а настоящее российское подполье, подпол. В нём существовали талантливые, гиблые люди. Их могли не печатать или печатать, даже принять в Союз писателей — это ничего не меняло. Жизнь их была катастрофой, хотя со стороны напоминала фарс. С ними вы в любой момент могли оказаться в фарсовой ситуации. Довлатов и его друзья принадлежали к числу таких людей.

Сколько раз я попадала в приключения с его приятелями! Как-то мы встречали Новый год в Царском Селе, у лица. Устроились возле памятника Пушкину; было тепло, снежно, невероятно красиво. Прозаик N решил угостить Пушкина — забрался к нему на скамью и приложил бутылку к бронзовым устам. Портвейн вяло стекал на снежную манишку поэта. N хлебнул сам, разомлел и приник к металлическому плечу. Мы любовались ими, пока не появился милиционер. В честь Нового года дело, к счастью, обошлось без неприятностей, только N ушибся, свалившись с памятника.

Или — незабвенное выступление с Олегом Григорьевым. Мы читали стихи в одном почтенном писательском доме. Пока я декламировала, Олег успел угоститься водкой и был в ударе. Начал он со стихов про дровосека —

тот промахивался и рубил топором «по полену — по колену, по полену — по колену!». При каждом «по колену» он хватал меня за коленку. Читая про самолёт, вскочил и беспорядочно, страшно размахивал руками над моей головой. Кажется, это были самые длинные стихи в моей жизни. Хозяева и гости были довольны, но мы с ними находились в разном положении: одно дело — смотреть фарс со стороны и совсем другое — очутиться внутри действия.

С Довлатовым мы познакомились, когда надумали уезжать.

— Иди к Серёге, — посоветовала подруга, узнав о моих планах. — Там Лена собирается, они знают, что делать.

Представления о Западе у нас, как у большинства, были туманные и отчасти фольклорные — близкие к тому, что в Англии хлеб, пущенный по воде, возвращается с маслом (так и виделось: флотилия караванов на Темзе, сверкающая намасленными боками). Знакомые собирались на чужбине заняться народными промыслами. Одна училась лепить глиняные игрушки — десятки кособоких Полканов и лошадей на разъезжавшихся ногах сушились на подоконниках. Другой думал печь в Америке тульские пряники. В Туле ему изготовили формы по образцам из музея, некоторые — размером с корыто. Да, это было время больших надежд.

В доме Довлатовых царил предгрозовая суета. В комнату непрерывно входили мама, жена и дочь Сергея. Лена что-то искала; когда она пролетала мимо Сергея, он поджимал ноги, как при мытье полов. Дочь перекладывала и роняла книги. Мама появлялась и застывала монументом укоризны.

— Сергей, лучше мы зайдём в другой раз.

— Другого не дано, — туманно сказал он. — И не предвидится... Кстати, хотел у вас спросить. Тут А. приводил ваших поэтов. Читали, читали, не дали нормально выпить. И что странно, все трое — абсолютно одно и то же. Наконец ушли, А. и говорит: «Те двое говно, а третий гений». Интересно: как вы их различаете?

— В основном по виду, — вежливо ответила я.

Он оживился и рассказал про нашего общего приятеля: тот хвалился, что получил гонорар и три дня всех поил, рубашку купил, да ещё кое-что осталось.

«— Ого, — говорю, — сколько же тебе заплатили?

— Семь рублей».

Байки Довлатова были неизменно смешны, точны и часто обидны. В этой истории, как в зеркалах «комнаты смеха», отразился наш друг, с его великодушием, безумием и нищетой. Я смеялась, но чувствовала себя предательницей.

На прощание Сергей дал нам кипу бумаги со слепым машинописным текстом — инструкции для отъезжающих. Мы принялись изучать эти творения безымянных гениев. Рассчитанные на тех, кто знал, что такое КЗОТ, РОВД, форма 286, и на тех, кто понимал лишь указания «войти в парадную и позвонить в квартиру». Среди бумаг оказалась инструкция, как вести себя в КГБ. Чтобы не волноваться, советовал её автор, представьте себе чистый холст в раме и мысленно заполняйте его. Он рекомендовал несколько несложных композиций, но на худой конец можно было просто

замалевывать холст. Поглощённые, например, созданием чёрного квадрата, вы рисковали показаться следователю дебилом, но не наговорили бы лишнего.

Я запомнила этот совет и позже проверила его на деле. Мы пришли в печально известное здание на Литейном проспекте, на приём к генералу КГБ Гранитову. Такой неброский, но продуманный интерьер, как в приёмной КГБ и МВД, я встречала лишь в крематории. На длинных скамьях томилась ожидающие. Просители МВД и КГБ вели себя по-разному: те всё время нервно потирали руки, а в нашей очереди громко и подробно стучали каблуками. Я представила себе холст в раме и трудилась, пока нас не вызвали. В кабинете оказался не Гранитов, а старуха, похожая на моль (почему меня до сих пор мучают их лица?). Картина на стене — зелёный Дзержинский на коричневом фоне — вполне годилась для мысленного закрашивания. Старуха с порога потребовала паспорта и пригребла их, словно это были наши души. Я сосредоточилась на фуражке Дзержинского, и пока Володя говорил, коричневые ручьи расплывались по лицу и шинели Феликса. И вдруг старуха заорала. Внезапно, без всякого усилия, и кудряшки на лбу не шелохнулись — она орала, как лагерный надзиратель. «Предатели родины... я в одном поле с вами ... не сяду!» и что-то совсем уже несусветное. Она была мастером своего дела — мы ожидали чего угодно, но не такого. Я из последних сил пыталась закрасить Феликса, а Володя просто онемел.

— Я вам паспортов не отдам!

— И на здоровье! Берите эти собачьи паспорта, — сказала я, мгновенно обессилев от её визга.

— Вон отсюда, — она швырнула красные корочки.

Паспорт упал на пол, я наклонилась за ним и заплакала. Слезы лились как из крана, Дзержинский расплывался на стене, старуха была довольна.

Но всё это случилось потом. А поначалу мы были бодры, спокойны и следовали советам Довлатова. После отъезда Лены дом замер, Сергей выглядел растерянным и подавленным. Мы репетировали с ним предстоящий поход в ОВиР.

— Итак, вы получили вызов от Исаяи Улевского. Кто он такой?

— Не знаю, — честно отвечала я.

— Как не знаете? Ваш дядя, родной брат матери! Как давно и каким образом вы о нём узнали?

— Месяц назад. Из вызова.

— Неверно. В шестьдесят первом году. Он прислал письмо. И потом не раз присылал письма и подарки.

— А если они потребуют их показать?

— Что показать? Что они могут потребовать? Он присылал мацу, вы её съели. А письма порвали — боялись хранить.

Было решено, что это я собираюсь воссоединиться с дядей.

— Внимание! — говорил Сергей. — Начинается самое интересное! Как он попал в Израиль?

Действительно, как? Не огородами же... Легенда, которую он предложил, меня смутила. Как я выдам в ОВиРе такую залепуху? Они же не полные идиоты.

— Во-первых, это не факт, — возражал Сергей, — во-вторых, всем понятно, что у большинства нет никакой родни, что всё липа. Но играем по правилам: вы говорите, а они слушают. Да что вы в самом деле, они на днях цыганский табор выпустили по еврейским вызовам!

Великодушие Сергея было столь велико, что он поделился с нами легендой и биографией своего мифического израильского дяди.

— Семья вашего деда жила в Жамках. В местечке Жамки.

— А где оно?

— Не углубляйтесь. Теперь: как звали ваших деда и бабуку?.. Нет, не годится. Их звали Сарра и Авраам.

Я жалобно пискнула.

— Не хотите Сарру и Авраама? Ладно, тогда Иаков и Рахиль. И сын их Исая, — заключил он.

— Итак, Жамки. тысяча девятьсот четырнадцатый год. Немецкие войска вошли в местечко. Паника, тевтонские каски, крики: «Шнеллер — яйки, млеко, сало!» А сала-то и нету! Что очень нехорошо и даже опасно... — Сергей сокрушённо покачал головой. — Дед Яков видит: надо спасать семью. Они бегут из Жамок: ночью, босиком. Переходят линию фронта, бабушка Рахиль в темноте пересчитывает детей по головам. А утром видят, что Исаяки нет! Пропал! И обратно нельзя. Представляете, что они пережили?

Я представила, как рассказываю всё в ОВиРе, и почувствовала, что садится голос.

— Как он пропал? И почему босиком? — хрипло спросила я.

— Не углубляйтесь. Отстал, заблудился, волк унёс... Бежал, порезал ногу, к утру дополз до дома. А немцы собираются отступать. Пожалели мальчишку, посадили на подводу. В общем, когда казаки, а с ними и ваш дед ворвались в местечко, его там не было. Ушёл с тевтонами. Дальнейшее, надеюсь, понятно: революция, коллективизация. Семья уверена, что Исаяка погиб, а он в Польше. В тридцатых годах перебрался в Палестину, потом нашёл вас, — торжественно закончил Сергей.

— Вы думаете, они поверят?

— Ещё раз говорю: это никого не интересует. Вы что, первая им это расскажете? То же самое говорит половина отъезжающих.

— Про Жамки?

— Не хотите Жамок — не надо, — обиделся Сергей. — Не понимаете своей выгоды. Я приглашаю вас в земляки, наши дядьки, можно сказать, в одной телеге ехали. Но, естественно, я не навязываюсь...

Ночью, когда я обдумывала легенду, предложенную Сергеем, она уже не казалась такой нелепой. Я попыталась представить себе Жамки. Получалось что-то среднее между репродукциями Шагала и фильмом «Свадьба в Малиновке»: козы на крышах, кувшины на тыне, рябые тыквы во дворах. Тут же возникали чубатые казаки из «Тихого Дона». Яснее всего виделось отступление немцев: вереница телег в кустарнике, шаткие тени с шишаками на касках, два мальчика на подводе... Эти нечёсаные дети, с руками, как прутики, и глазами лемуров, были наши придуманные дядья.

Я отправилась в ОВиР. Все инспекторы были моложавые, подтянутые тётки, похожие, как солдаты на плацу. Но каждая старалась внести в работу свою, особую красочку. Красочка нашей Ухариной была фиолетовая. Помада с фиолетовым оттенком, фиолетовые с золотыми крапинами ногти. Аллергические цвета блузок, юбок, шейных платков. При виде неё хотелось чесаться. Кроме того, она излучала непонятную, необъяснимую ненависть. Одно время я бредила Ухариной, ловила себя на том, что гримасничаю и раздуваю ноздри, как она, пыталась представить её на кухне, за уборкой, с любовником, — тут воображение отказывало.

Я поведала Ухариной историю исчезновения дяди. Она слушала скучливо и без удивления — видно, этими баснями её кормили не раз.

— А потом он нашёл нашу семью...

— В письменном виде, — сказала Ухарина.

— Как?

— Изложите в письменном виде и принесите, — закончила она.

Я написала полторы страницы, обдумывая каждое слово. Печальный гомункулус, созданный воображением Сергея, становился всё реальнее. Я видела, как он дрогнет в телеге, как сырая тьма втягивает, обволакивает его и тевтонов... в шинелях и касках... в плащах и шлемах. Не знаю, как он доберётся до Польши.

— Нормально, — сказал Сергей. — Читать этого, конечно, никто не будет. Но ребятишки уже в пути, туда-сюда — и в Палестине.

Он был весел, предложил выпить и рассказал очередную байку. Заночевала у него приятельница. Утром мама увидела пальто, услышала женский голос за дверью и захотела узнать, кто гостя Сергея.

— А мы всё не выходим... Тогда она постучалась и спрашивает. — Сергей изобразил низкий голос с тягучей интонацией: — Серёжа! Вам с блядем не нужно зелёного горошку?

Его отношения с подругами и поклонницами были таинственны. Незадолго до отъезда в доме стали появляться тихие, миловидные девушки. Сергей обращался с ними сурово: им позволялось приносить бутылки и пряники и молча слушать. Мы устраивались у кухонного стола, они поодаль, им, кажется, даже чаю не всегда предлагали. Но я, помня о его репутации опасного человека, не вникала в эти отношения.

Неясно было, в каком положении и его отъездные дела. Вроде бы он собирался, даже определённо собирался, но совсем не спешил. Показал снимок: Лена с дочерью среди груды покупок, у обеих счастливые лица. «Это они в Риме. Мои гонорары получили». Фотография сверкала гляncем: яркой красотой Лены, разноцветными пятнами пакетов, даже на вид мягких и льнущих к ладоням. Но что-то никто из нас не чувствовал куража для прыжка в тот мир, в глубины под глянцевой поверхностью. А снять бы нас тогда: Сергея в мятых брюках и тельняшке, меня в негнущемся синтетическом платье, Володю в костюме фабрики «Большевичка» — совсем другой вид. Почти неореализм, «Похитители велосипедов»... В общем, в какой-то момент мы расслабились. По инерции собирали справки, пора было увольняться с работы, а мы всё тянули. Заходили к Сергею, выпивали, развлекали друг друга рассказами, о деле не вспоминали. И вдруг он исчез.

Печальный голос мамы на вопрос, дома ли Сергей, ответил:

— Он в милиции.

— А когда вернётся?

— Думаю, через пятнадцать суток.

Она вздохнула и повесила трубку. А Сергей при встрече рассказал поразительную историю. Его арестовали и судили за то, что якобы спустил с лестницы капитана милиции. Потом он встретился с этим капитаном и передавал их разговор в лицах:

— Сейчас мы одни, — задумчиво говорил он, — без свидетелей. Ну скажите честно: разве я спускал вас с лестницы?

— Ещё чего! — отвечал капитан. — Если бы ты, гнида, меня хоть пальцем тронул, схлопотал бы пять лет! А так всего десять суток.

Выглядел Сергей ужасно — опухший, с воспалённым лицом и заплаканными глазами. История с капитаном оказалась присказкой, сказка началась дальше (мы очень не скоро заподозрили, что это была сказка). После суда его привезли в тюрьму. Сокамерники выглядели интересно: кто в парадном костюме, кто в рваной рубахе, один был во фраке. Утром всех выстроили во дворе и распределили на работы. Сергея с другими отправили на макаронную фабрику. Рядом оказались две девушки в вечерних платьях — студентки филфака. Рассказали: вчера вечером зашли в «Асторию», выпить кофе. Подсели американцы, очень интеллигентные люди. Познакомились, потом те пригласили их в номер.

— Ну, пришли, завязался разговор о Сэлинджере, Апдайке... Тут коридорная ломится. Я говорю: «Лера, какой ужас!», а она: «Стыдно перед иностранцами! Мальчики, не открывайте дверь!» И тут эта сука с ментами... — И рассказ соскальзывал в мат, какой, уверял Сергей, и в зоне нечасто услышишь.

Трудовой день на макаронной фабрике оказался первым и единственным. На следующее утро к Сергею подошёл человек в кожаной куртке и сказал: «Этого я беру в гараж». Привёл в милицейский гараж, выложил бутерброды, выставил бутылку. Выпили, и незнакомец спросил:

— Ты меня помнишь?

— Нет, — сказал Сергей. — Но теперь запомню навсегда.

— А я тебя сразу узнал.

Далее следовала вставная новелла: когда Сергей служил в охране лагеря, этот человек отбывал там срок. Однажды зеки украли гуся, испекли в глине и съели. Сергей видел это, но не пресёк и вообще промолчал. Тогда незнакомец и сказал ему: «Начальник, ты всё, а я ничто, но кто знает, как дальше повернётся? Может, сквитаемся». И как в воду глядел! Теперь Сергей день проводил в гараже, пил с благодетелем, а к вечеру тот доставлял его в камеру. Понятно, почему у него такой пришибленный вид: столько времени пил без просыпу! Но какая яркая, невероятная у него жизнь — просто «Граф Монте-Кристо»! Интересно, где они нашли гуся?

— Сергей, а как пекут гуся в глине?

— С перьями. — И опять повторил: — Начальник, ты всё, а я ничто...

А когда мы уходили, сказал: «Не тяните с отъездом, ребята».

И сам энергично принялся за дело. Похвастался, что в ОВиРе его принимают без очереди, с оформлением никаких проблем. «Да, видел вашу Ухарину — она ничего себе, глазки строит». Ему она строила глазки, а мне задала задачку: нужна справка, что Улевские жили в Жамках, что Исай брат моей матери и т. д. Кто мне даст такую справку? Не тевтоны же!

— Всё правильно, — сказал Сергей, — всё идет по плану. Сейчас посылаете запрос в Шклов. Они пришлют вот такую бумажку.

На бланке было напечатано: «Сведений о вашей семье сообщить не можем, поскольку архивы до 1944 года не сохранились». Я не знала тогда, какое сокровище держу в руках! Нам из Шклова через месяц пришёл ответ: «Сведений об Улевском Я.А. и его семье в нашем архиве не имеется». Ещё не предчувствуя катастрофы, я подосадовала: что за ерунда? С такой справкой в ОВиР не сунешься. Получается, что все остальные сведения у них имеются и только этих нет.

— Пишите в Гдов, Львов, Могилёв... в общем, смотрите по карте. В местах, где были немцы, архивы не сохранились, — сказал Довлатов.

Мы были у него в последний раз. Его отъезд раскручивался неправдоподобно быстро, целыми днями он бегал по делам, а вечерами шли проводы. Сергей провёл нас на кухню, в комнате сидели гости. Сунул голову под кран, вытерся кухонным полотенцем и пожаловался: «Клетку для собаки сколотили, как для льва. Из сырой ёлки. Не знаю, как её тащить». Повертел в руках бумажку из Шклова: «Ничего. Пишите в Гдов, Львов, Могилёв». Ему не хотелось в это вникать, ему своих забот хватало — и чего мы, в самом деле, ждали? Я увидела нас его взглядом, уже отстранённым, как с отплывающего корабля, — маленькие фигурки на берегу. И почувствовала себя потерянным Исайкой: последние телеги вползали в кустарник; лёд хрустел под ногами, и всё оставленное позади накрывало мёртвой, оглушительной тишиной.

Из комнаты кричали: «Серёга! Сергей!»

— Может, посидите с нами?

— Нет, нам пора.

— Ну ладно. Но вы зайдёте ещё? Или увидимся в Вене?

Сергей смотрел смущённо и внимательно, и я вдруг поняла, что не увидимся мы в Вене, да и вообще, неизвестно, увидимся ли. И что он это знает.

— Минск, Пинск, Двинск... — сказал он на прощание. — Звоните, ребята. И не тяните, ладно? Счастливо!

Он уехал. Мы нескоро дождались ответов на разосланные письма. Потом они посыпались, как из мешка, — казённые конверты со штампами вместо марок и бумажками: «сведений не имеется». Одинаковые, как похоронки. Больше ждать было нечего.

Мы уехали в Судак — к друзьям. Они относились к нашей аванюре как к приступу болезни, о котором лучше забыть. Выкарабкались — и слава Богу! И я смотрела из воды на дряхлую, пластами облезающую шкуру скалы Носорог и сонно думала: вот и кончился морок. Ветер сдирал пыль с носорожьей шкуры, мелкие волны толкались в спину, небо стекало в море неслышно, как песок в песочных часах. Из Питера донёсся странный слух: Довлатова по пути в Вену сняли с самолёта. Якобы в самолёте он выпил,

огляделся и затосковал: его окружали чужие, самодовольные люди, гордые тем, что покинули родину. Он не утерпел и принялся корить их. На это выбравшие свободу граждане потребовали немедленно высадить отщепенца и сдать в полицию. Что и было исполнено в Будапеште. В назначенный день в Вену прибыли мама с собакой, а Сергей появился позже, трезвый и униженный. Что у него за свойство такое — попадать в невероятные истории?

Между тем невероятное надвигалось и на нас. Во-первых, мы начали находить деньги на дороге: в первый раз кошелек с 26 рублями, в другой — с трешкой. Во-вторых, в сентябре пришло письмо из Полоцка. Конверт с обычной маркой, внутри крошки, пара шелушин от семечек и листок бумаги: «Сведений о вашем деде, Улевском Я.А., и его семье сообщить не можем, т. к. архивы до 1945 года не сохранились». Печать и подпись.

Я с нежностью думаю о полоцком архивариусе. Наверняка он дремал на собраниях и кое-как читал инструкции (иначе ответил бы, как все). Месяцами не отправлял писем и вспомнил о нашем, когда поставил на него бутылку (на конверте отпечатался лиловый круг). Архивный распустёха, рядовой ангел со скверным почерком — он не догадывался, как помог нам.

Ухарина прочла справку, пожалала плечами:

— Ну что же, ждите. Через три месяца получите ответ.

Меня смутил её взгляд: в нём было брезгливое сожаление. Так смотрят на раздавленную курицу, угодившую под колёса.

Она позвонила в декабре: «Ответ пришёл». Когда меня вызвали без очереди, я вспомнила Довлатова — с ним здесь обращались так же. «Всё идёт по плану», — повторила я за ним.

Ухарина открыла папку и объявила:

— Вам отказано.

— Как?.. Почему?

— Ваш отъезд противоречит интересам государства, — прочла она.

— Почему? Мы не знаем никаких ваших тайн... зачем мы вам нужны? — бессвязно заговорила я.

— Возможно, вы являетесь национальным достоянием, — без улыбки сказала Ухарина.

Не ждала я услышать слово признания в этих стенах, крашенных морилкой! И не подозревала, до какого отчаяния оно может довести. Обезумев, я гнула своё:

— Мы не каменный уголь... и не дождёмся, пока вы выроете... мы умрём...

— Серьёзно? — спросила она.

— А вы что — не умрёте? Вы не собираетесь? — вскрикнула я.

За столами умолкли, все глядели на меня с осуждением. Лицо Ухариной меняло цвета и оттенки, как северное сияние.

— Я лично — не собираюсь, — сказала она и захлопнула папку. — Можете жаловаться.

Дальше всё помнится, как в тумане... Приём у начальника ОВиРа — то ли Зотова, то ли Котова: открытое лицо, добрые глаза. Я говорю что-то убедительное, Зотов-Котов молчит. Уверяю: от нас государству никакой

пользы, один вред, можно сказать. Он затуманивается, но молчит. Сбиваюсь на национальное достояние... Наконец: «Не выпустите — выйду на Красную площадь!» Какой жалкий, писклявый у меня голос!

— Не советую, — жёстко говорит Зотов-Котов и указывает на дверь.

Поход к генералу Гранитову. Потом Москва, министерство в каком-то вавилонском зиккурате: гранитный цоколь, бронзовые гербы, потолки с лепниной и кислый запах пыли, сырой одежды и безнадёжности. Меня принял очень симпатичный человек. Улыбался, просматривая мои бумаги, и одновременно слушал. Именно слушал, а не цепенел, как Вий, и не крыл матом. Всё в нём было симпатично: яркий галстук, молодёжная стрижка, открытая улыбка. Даже золотой зуб её не портит.

— На каком основании вы нас задерживаете? — спросила я.

— Не вижу никаких оснований, — сказал он. — Никаких оснований не вижу. Можете уезжать хоть завтра. Уж если мы вам так немилы... — улыбка стала ещё шире.

— Так отпустите!

— Так отпускаем, пожалуйста!

Я не верила своим ушам. Он помахал кому-то за моей спиной и перевёл на меня весёлый взгляд.

— И что нам теперь делать?

— Что нам делать, что нам делать?.. — пропел он. — Вот и подумаем вместе. Что вы там-то будете делать? Кому мы, интеллигенты, там вообще нужны?

Он развёл руками — манжета поползла вверх и открыла запястье, густо поросшее волосом, и татуировку «Сёма». Не знаю, не могу объяснить ужаса при виде этой татуировки. Помню, как выбежала на улицу... помню голландское посольство и мужчин с лунообразными лицами, в тюбетейках, идущих туда за израильскими визами. Ночью, в купе поезда я никак не могла согреться. Человек в лёгкой форме, спавший на верхней полке, спрыгнул, наклонился, прошептал: «Пусть тебе приснится голубая птица!» — и так же бесшумно взлетел наверх. Я решила, что схожу с ума.

Так оно и было, потому что после хождений по инстанциям я надумала убить Ухарину. Попробую объяснить... Как ни странно, именно в то время я обрела свободу. Настоящую, внутреннюю свободу, не зависящую от перемещения из пункта А в пункт Б. Моя свобода была нехороша. Я безнаказанно объясняла людям в погонах и с накладными плечами, что не хочу жить в их государстве. Писала Брежневу — мне тут же провели телефон, но он не позвонил. Внешне пространство оставалось прежним, но на деле безмерно расширилось. Я стала, как сказочный Нильс после превращения: расстояние от ведра до метлы оказывалось огромным, а деревенская кухня — бескрайней. Или как Исайка, бесконечно и бесцельно странствующий среди лесов и болот. Это была свобода зависания в пустоте, в полости механизма: бесшумно двигались его части, не задевая, не замечая, скользя мимо... Единственным слабым звеном в нём оставалась Ухарина — она была понятна (ведь ненависть — человеческое чувство). У всего, что мучило меня, появилось лицо — злое лицо Ухаариной. Мне казалось, что, покончив с ней, я покончу и с мороком.

Был у нас приятель — странный, как и всё, происходившее в то время. Робкий человек, помешанный на здоровье и на оружии. В его комнате умещались койка, шкаф, стол, духовое ружьё и мелкокалиберная винтовка. Мы с Володей приходили, втроём усаживались на кровать, ели приготовленную им полезную пищу, курили в форточку и беседовали о канцерогенах и витаминах. Кончалось всегда одинаково: бутылкой водки, смазкой ружей, тошнотворным запахом масла и преображением хозяина. Он начинал покрикивать, командовал: «Наливай!», на стопках отпечатывались жирные следы, и затевался разговор о его игрушках. Как-то мы усомнились в возможностях духового ружья, и он страшно обиделся. Его квартира была на третьем этаже блочного дома, а в другом конце двора, среди лужи, стоял пивной ларёк. Приятель устроился на койке, приоткрыл окно и выстрелил в лужу. Мужик с кружкой огляделся. Всплеском воды от второго выстрела ему забрызгало брюки, и он выругался. К нему подошли другие, заговорили — нам показалось, что они смотрят в нашу сторону.

— Кончай, Саня, хватит, — сказал Володя, но тот только сердито сопел.

Через пару минут он снова выстрелил — мужики шарахнулись в стороны и попрятались за ларёк. До нас донеслись мат и возглас: «Милиция!» До темноты мы просидели, не включая света. Происшествие на наших глазах превращалось в легенду: компании с кружками стояли на краю лужи, жестикулировали и гомонили. Даже продавщица вышла из ларька и задумчиво поглядела в таинственные, грязные глубины.

Духовое ружьё вошло в мой план. В доме напротив входа в ОВиР есть парадная. На площадке второго этажа разбито окно, не хватает куска стекла. Когда я увидела эту дыру с обломанными краями, то почти не удивилась, словно уже видела её прежде. Напрасно ОВиР поместился на улице имени террориста Желябова, совсем они не чувствуют истории. Но тогда я не думала об этом, а просто решила: удача. Расстояние до ОВиРа отсюда метров сто — и ребёнок не промахнется. Главная трудность заключалась в наблюдении. В парадной было несколько квартир, но в нужное мне время она становилась оживлённой: люди возвращались с работы. Заслышав шаги, я избегала вверх и неспешно спускалась, как будто шла из верхней квартиры. Я уже знала нескольких жильцов в лицо, и они смотрели на меня с подозрением. Лестницу здесь, похоже, никогда не мыли, стены заросли жирным налётом, внизу воняло мочой, на подоконнике лежали объедки, я пугалась шагов и скрипа дверей — но ни в каком другом месте я не чувствовала свою свободу так остро, как здесь.

Ухарина появлялась около шести. Если она была одна, лицо под лисьей шапкой сохраняло брезгливое выражение. Иногда они выпархивали вместе: симпатичные капитанши в мехах и модных сапожках, и когда они оставались, прежде чем разойтись, их лица принимали озабоченный, совсем обыденный вид. Но чаще Ухарина выходила одна. Я ждала её, стоя у подоконника, водя пальцами по зубринам разбитого стекла, и, когда она появлялась, сильнее нажимала на острия. Делалось больно, и это укрепляло решимость. Однажды она подняла голову и скользнула взглядом по окну. Я отдернула руку — на пальце широкой полосой выступала кровь.

Я столкнулась с нею на Невском, когда она выходила из ресторана. И угадала, что это она, прежде чем узнала — по колотью в кончиках пальцев. Она была оживлена, весела, её шапку нёс высокий грузин с красивым, равнодушным лицом. Ухарина легко, по-мальчишечьи выгнулась и тряхнула головой, заглядывая на него снизу. Он небрежно коснулся её голой шеи, она выгнулась под его ладонью, мотнула гривкой и рассмеялась. Её вид привёл меня в необъяснимый, панический ужас. До этой минуты её существование ограничивалось ОВиРом, уплотнилось до силуэта мишени в подъезде — но вот она вышла из этого круга и стояла на мокром сверкающем тротуаре, в ореоле цветных огней.

Вечером я позвонила приятелю-оружейнику и попросила о встрече, но он отказался наотрез. По опыту было известно, что мы встретимся не раньше, чем в городе объявят об окончании эпидемии гриппа.

— А ты сама-то здорова? — подозрительно спросил он.

— Что мне делается? Здорова как слон, — соврала я.

Я болела всю зиму, со времени возвращения из Москвы. К вечеру поднималась температура, но главное — не отпускала удушливая тоска. Она застилала глаза пеленой и вызывала беспричинные слёзы. Всю зиму я ездила по урокам. Ученики жили на окраине, в домах-кораблях, где от дома до дома полверсты, и ни тебе калош, ни пугачёвского тулупчика. Та зима вспоминается, как тяжёлый сон: промокшие сапоги, узкие комнаты, в которых сидели, раскрыв тетрадки, невесёлые недоросли. Мы не радовали друг друга, но меня укрепляла мысль о пяти рублях, которые мне сунет на пороге мать такого Вовы или Вити. Выйдя из квартиры, я на лестнице снимала сапоги и застилала стельки газетой. От сырого войлока разило псиной. Потом возвращение в трамвае, который полз, скрежеща сочленениями, мимо пустырей и Лавры, мимо окон с нагретыми абажурами, вдоль Невы. Это длилось так долго, что я успевала согреться, и снова заколечеть, и раствориться в мутном воздухе, среди железных стен и заросших инеем окон. Это и есть твоя свобода, свобода зависания в пустоте... и ничего не изменится, если ты пальнёшь в эту дуру Ухарину... и наверняка промажешь, дура. Но мысль об Ухариной неизменно приводила меня в чувство. Она была реальностью — почти единственной реальностью в то время.

Не знаю, чем бы всё кончилось, если бы не чудо. Кроме уроков и топтания у разбитого окна, у меня появилось ещё одно дело. Пришла незнакомая немка, попросила помочь ей писать книгу о Петербурге. Кто мог угадать посланца небес в широкоплечей Брунгильде с озабоченным лицом? Она носила грубошёрстные брюки и мужские ботинки, ела размоченный в воде геркулес и рассказывала что-то немислимое о жизни в университетском общежитии. Но её дворянский род восходил чуть ли не к временам Нибелунгов, и она могла вынести всё. Я согласилась помогать ей. Теперь вечерами я сидела в Публичной библиотеке и занималась русской историей. Прошлое развёртывалось, как старинная панорама, расцветивалось, наполнялось жизнью, и становились различимы судьбы и лица — всё больше лиц. Я начала узнавать их черты в окружающих, даже пыталась угадывать, кто из какого времени. За прилавком в Гостином дворе встретила красавицу с портрета Рокотова — она торговала чемоданами. Таких узнаваний было

много, и каждое, как укол, прорывало мучившую меня пелену. Освобождение пришло внезапно: однажды, раскрыв папку гравюр, я едва сдержала крик — перед завесой с имперскими складками, в многопудовом платье, усеянном камнями и звёздами, в мантии и короне, со скипетром и державой в пухлых руках — стояла Ухарина! Её тяжёлое лицо, тупой подбородок и брезгливо поджатые губы: «Вам отказано». Долго-долго я глядела на императрицу Анну Иоанновну, чувствуя обморочную слабость. Прикрывала бумагой платье и корону, оставляя лишь лицо, и в голове гудело: «Она! Она!» Нашёлся и портрет Бирона: черноволосый, с волевым, тупым выражением красивого лица, на шее щегольской платочек.

Я выходила в курилку, возвращалась и снова смотрела на них. Меня переполняло странное злорадство, я смеялась над собой и Ухариной. «Как же: разночинцы, разохлые сапоги, Желябов... а как тебе Анна Иоанновна? Смекаешь, куда угодила?» — ехидно говорила я себе. Наконец я разгадала секрет мучительной невнятицы — того, что мучило меня, моих друзей, всех нас — и что я называла Ухариной. Она стояла, втиснутая в золочёное платье, как в гроб. Корона, словно витая ручка старинной печати, надёжно придавила голову с низким лбом. Нелепо выходить на истлевшее чудище с духовым ружьём — не дождутся они нашей крови, будет с них! И я ужаснулась тому, сколько времени и сил мы потратили на поединок с пустотой.

Мы снова пытались жить, научались новым профессиям, нам было трудно. Прошлое не забылось, и то, что нами распорядились, как вещью, не забылось, но уже не застило света. Уехавшие друзья, после бурной переписки и звонков, советов, как нам быть и в какие двери ломиться, писали всё реже. Теперь мы чаще слышали их по радио. Сквозь вой глушилок прорывался голос Довлатова, он рассказывал об Америке — остроумно, увлекательно, с блеском. То, что он рассказывал, напоминало лучшие иллюстрации журнала «Америка» — и имело к нашей жизни так же мало отношения. Да и к его собственной, судя по его письмам друзьям, немногим больше.

Он напомнил о себе неожиданно, через несколько лет. В комнате академического института, заставленной разнотильной старинной мебелью, было тихо и жарко. Я устроилась за столом с поцарапанной столешницей и следами чернил на сукне. У бюро на козетке примостился старичок, в кресле за ломберным столиком сидела хранительница фонда. Передо мной были разложены фотографии знаменитых террористов-эсеров, я собирала материал для сценария о «Петербурге» Андрея Белого. Старичок рассматривал рукописный альбом прошлого века и счастливо мурлыкал, перелистывая страницы. Иногда он поднимался, смотрел в окно и с довольной улыбкой возвращался на место. По мосту шли ярко-красные трамваи, в плотном морозном воздухе чёрные фигурки спешили через мост, на другой стороне Невы набухало над трубой, не растворяясь, облако дыма. То, что хранилось в этих комнатах, похожих на старинные шкатулки, было интереснее и важнее происходившего за их стенами.

— Какое страшное лицо, — тихо сказала хранительница, подойдя и указывая на Каляева.

У Каляева были косые от ужаса глаза и наполовину вырванный ус.

— Эти не лучше, — отозвалась я, кивая на фотографии.

— Вы меня не помните? — вдруг спросила она.

Я удивилась, сказала «нет» и тут же вспомнила, что видела её, но где, когда?

— У меня ужасная память на лица.

— Ничего. — Она улыбнулась и села за мой стол. — Мы несколько раз встречались у Довлатова, перед его отъездом.

— Это было так давно...

Я вспомнила миловидных молчаливых девушек, сидевших рядком на кухне и слушавших Сергея. Мне ещё казалось, что он не слишком внимателен к ним.

— Серёжа приглашал нас, когда вы собирались прийти.

Это была новость. Я не забыла, как мы вызванивали его в последние недели, его и другие разорённые дома, людей, что-то советующих, — но глаза их уже глядели мимо. И отвлечённый, ускользающий взгляд Сергея. И Исайку из Жамок... Да, она была одной из тех девушек.

— Мы ещё приносили коньяк и пряники. Серёжа говорил, вы любите коньяк и пряники... — Она тихо засмеялась.

Я не сразу поняла, о чём она говорит. Коньяк и пряники. Был такой набор, Сергей не раз выставлял его на стол. Мы думали, он пристрастился к ним в тюрьме, у своего гаражника. Ах ты, гусь, запечённый в глине! Ну и прохвост!

— Но зачем же он приглашал вас? Ведь мы говорили только о делах!

— Нет, — она покачала головой, — было интересно. Серёжа говорил: даю вам возможность посмотреть на единственную нормальную поэтессу.

Козетка под старичком заскрипела. Ему надоело наше шушуканье, и он раздражённым шёпотом подозвал хранительницу. Пока они разбирали какие-то французские стихи, я твердила про себя: «Ну и гусь!» и чувствовала, как замерзаю в натопленной комнате. Полузабытый, ни с чем не сравнимый холод той зимы, страх одиночества, свобода зависания в пустоте...

Хранительница вернулась с улыбкой: ей казалось, нас связывают приятные воспоминания.

— «Нормальная» в смысле — вменяемая? — спросила я, глядя на фотографии.

— Что? — не поняла она.

— Вы ходили смотреть на нормальную, то есть вменяемую поэтессу?

Она вспыхнула и не сразу нашлась с ответом.

— Почему? Мы хотели послушать стихи... Что в этом плохого? Вы интересно рассказывали...

— Я не читала стихов. Не до того было. И что рассказывала, не помню. Надеюсь, во всяком случае, связно.

Я сама чувствовала, что не стоит этого говорить. В конце концов, при чём тут она? Девушки скидывались со своих воробьиных зарплат, чтобы посмотреть на нормального человека! Да, хороши же мы были! Я вспомнила пишущую братию. Да и сейчас хороши...

Хранительница вернулась в свой угол и сидела там, обиженная и расстроенная. Я собрала фотографии и положила ей на стол.

— Пожалуйста, не обижайтесь. Просто для нас тогда было трудное время, и, наверное, напрасно Сергей устраивал эти смотрины.

— В этом не было ничего плохого, — твёрдо повторила она. — Он хорошо к вам относился и расстраивался, что у вас всё так сложилось.

— Ничего, сложилось как сложилось. Вы что-нибудь знаете о нём, как он?

— Знаю, — сказала она, не глядя на меня. — Недавно Олег из нашего отдела был в Нью-Йорке. Говорит, все знакомые очень изменились за эти годы. Но особенно его поразили Сергей. Он сказал, что Сергей, — она подняла глаза и улыбнулась, — показался ему самым нормальным из всех, кого он там видел.

И вот они вступают в лес — вереница повозок, всадников и пехотинцев. Так же когда-то вступали легионы Квинтилия Вара — и растворились, сгнули в этом лесу. «Вар, верни мои легионы!» — кричал и бился император Август, но никто из них не вернулся назад. Сейчас, пока шелестящая тьма не сомкнулась за уходящими, я могу в последний раз разглядеть их лица. Отыскать тяжёлое, красивое лицо человека, которого некогда знала: он здесь, рядом с мальчиками, похожими на лемунов. Последние телеги вползают в кустарник и исчезают из вида, слышно только, как лёд хрустит под колёсами. И всё затягивает тяжёлым солёным туманом; он разъедает глаза, давит на плечи и пригибает к земле... Верни мои легионы!

22.05.1997

Этот рассказ из мемуарного цикла «Я и гиганты» был опубликован в моей книге «Обернувшись». Первый её тираж был невелик, сейчас готовится второе издание, а пока я буду иногда выставлять отдельные главки.

БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА

Как идиолов в их капищах, я встречала героев этих правдивых рассказов по большей части в московском и ленинградском Домах литераторов. Живописать их странный мирок я не берусь, хотя после Булгакова этот подвиг прельщает многих. Однажды, накануне поездки в Москву, друзья попросили меня позвонить Булату Окуджаве, о чём-то напомнить, и я согласилась с радостью. Любовь к этому писателю была первым даром, полученным нашим поколением от современной русской литературы, даром не растраченным.

Незадолго до того Окуджаву уехал из Ленинграда в Москву, и это стало предметом ревнивого огорчения многих его ленинградских почитателей. В Москве я позвонила ему не сразу, откладывая со дня на день, — дело

было под Рождество, и я придумала себе подарок — встречу с поэтом. Наконец собралась, передала поручение друзей и, прерывая прощальное благодарствие, выпалила: «Булат Шалвович, я хотела бы показать Вам стихи». Окуджава великодушно согласился назавтра встретиться в ЦДЛ. Радость моя была столь велика, что мне в голову не пришло чувствовать себя одной из сонма стихотворцев, одолевающих мэтра, или хотя бы спросить, где находится этот ЦДЛ. В тёмный, вьюжный день я не без труда отыскала особняк на тихой улочке и вошла. «Вы к кому?» — спросил человек, стоявший у входа за стойкой, вроде билетёра в кинотеатре.

— Меня пригласил Окуджава.

— Окуджаев? Окуджаев... Посмотрим, кого он приглашал, — сказал человек, открывая толстый том. Я решила, что он шутит, не может же он не знать, кто такой...

— Ага, Окуджава. — Палец застыл на строчке. — Правильно, проходите.

Мы условились встретиться в фойе, у гардеробов, но Окуджавы не было, и я устроилась его ожидать. Здесь же были две женщины, по виду официантки, с отцветшими, накрашенными лицами — одна моложе и суше, вторая дороднее и старше. Они увлечённо толковали с гардеробщиком. «Вон ту шубу, Ваничка, дай примерить! — говорила старшая, и гардеробщик Ваня снимал с вешалки прекрасную шубу. Старшая мерила и вертелась перед зеркалами, младшая одобрительно кивала. «А мне, Ваничка, норковую! Да не эту, а вон ту, рядом!» И вот уже две дамы в золотых серьгах и шубах с чужого плеча хороводились у зеркал. Я была расстроена отсутствием Окуджавы и не могла оценить зрелище в полной мере, а ведь передо мной, по контрамарке попавшей в этот театрик, разыгрывалась сцена из добротной московской комедии с лакеем и стареющими субретками.

— Ах, Римма, прелесть какая!

— Ой, Инна, осторожно, не помни!

— Петя, Петя! — закричали обе при виде хлыщеватого молодого человека, и он поспешил к ним, ласково улыбаясь. «Тоже официант», — подумала я. «Петя, ты посмотри, ты только посмотри!» — трещали дамы, и Петя воздал им должное. Он ахал, охал, теребил меховые рукава под добродушным, но неусыпным взглядом гардеробщика. «А мне-то, Ваничка, нет какой-нибудь?» — выкрикивал он, и Ваня отвечал: «Нет, на Вас сегодня нету». Эта сцена была достойным вознаграждением за долгую дорогу в ЦДЛ и ожидание в фойе, но самое забавное выяснилось чуть позже: эти люди были известными московскими поэтами.

Наконец Окуджава появился, мы сели в гостиной, и я, наскоро что-то пробормотав, дала ему стихи. Мимо всё время проходили люди — мне казалось, что они поглядывают с усмешкой, и я видела нас со стороны: известный поэт листает пачку стихов очередной сочинительницы, а она, бледная, зорко следит за ним. Окуджава что-нибудь говорил, и я близоруко припадала к листу. Он почувствовал, что мне несколько не по себе, и сумел снять эту скованность. Мы говорили о стихах, беседа наша была несуетна и прекрасна, но её прервали. Перед нами остановился подвыпивший человек и расплылся в широкой улыбке:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте... — Булат Шалвович вопросительно посмотрел на меня; лёгкий дух скандала возник в воздухе, и я тоскливо вжалась в кресло.

— Не узнаёте меня? — уже прямо к нему обратился пьяненький. — Мы же в «Дружбе народов» были на прошлой неделе. Пили вместе, было такое дело?

— Было, — нерешительно подтвердил поэт.

— Ну, вспомнили? А я уж думаю: как же так, не признаёт меня Григорий Семёнович? Здравсте!

— Вы ошиблись. Я Булат Окуджава, — приосанившись, ответил Булат Шалвович.

Пьяный смешался.

— Окуджава? Нет, не помню, ошибся. Извиняюсь, что влез в компанию... — Поклонился, чудом сохранив равновесие, и потёк к ресторану.

Поэт расстроился сразу и невыносимо. Он помолчал, потом со вздохом собрал мои листки.

— Спасибо за стихи. Будете в Москве — звоните. Я теперь буду вас помнить и следить за публикациями.

Тут я, хотя и была удручена, рассмеялась. Он кивнул.

— В Москву надо переезжать, — задумчиво сказал Окуджава и поглядел на резную лестницу, дубовые двери, вьюгу за окном и на снующих осенними мухами литераторов. — Переезжайте сюда, здесь легче...

Мы простились, я прошла мимо стойки администратора, толкнула тяжёлую дверь и вышла. Машины у подъезда были занесены снегом, улочка пустела, и только милиционер на противоположной стороне, застыв, как в предсмертной истоме, едва заметно переминался с ноги на ногу. Писательский дом на высоком цоколе горел люстрами, был натоплен и разукрашен изнутри, как сусальный дворец, приготовленный в подарок к Рождеству. Я перелезла через сугробы, и милиционер объяснил, как выбраться к метро.

— В Москве легче, — бормотала я, пробираясь сквозь снеговую стену.

— В Москве лучше... — рассудительно отвечал кто-то невидимый рядом, и эта беседа скрасила неблизкий путь домой.

Леонид Финкель

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, прозаик, драматург, публицист, доктор философии. Автор многочисленных повестей и рассказов. В Израиле с 1992 года. Живёт в г. Ашкелоне. Председатель Союза русскоязычных писателей Израиля.

ЭТОТ ЗЫБКИЙ СЛЕД НА ПЕСКЕ

(из повести)

*Никто меня не понимал, кроме одного ученика,
да и тот понимал не так.*

Гегель

* * *

Журнальный вариант романа «Бабий Яр» я, конечно, прочитал по его выходе. Немногие знали, что это «уродливый» вариант романа. Но общество было взволнованно.

Впервые о трагедии Бабьего Яра мы узнали из стихов Ильи Эренбурга и Льва Озерова (1943). Хотя, как подсказывает Евгений Александрович Евтушенко, первооткрывательницей темы ещё в 1941 году была Ольга Анстей, оказавшаяся после за рубежом. Однако после войны тема Бабьего Яра исчезла со страниц советской прессы, как будто бы её не существовало. Место расстрела стало городской свалкой.

Будучи 12-летним подростком, Анатолий Кузнецов видел всё, что случилось в Киеве, в том числе на Куренёвке, в Бабьем Яру. Позже, уже студент Литературного института, он привёл своего сокурсника — молодого Женю Евтушенко — в Бабий Яр.

— А ты что, правда был в Бабьем Яру?

— Нет, я там не был... — мрачно ответил Кузнецов. — Но я видел, как это было...

— Ты должен написать об этом...

— Кто это будет печатать... А кроме того... я... я боюсь...

«Как впоследствии подтвердилось, он был прав в боязни писать об этом, — писал Евтушенко. — Кузнецова не убили в Бабьем Яре, Кузнецова убил собственный роман о Бабьем Яре. Роман напечатали, но он был зверски искромсан цензурой.

По-моему, у Кузнецова в результате издевательства над его любимым детищем что-то случилось с головой. Аксёнов мне рассказывал, что однажды он ночевал у Кузнецова и тот послал к нему с подносом, уставленным напитками, собственную жену, на высоких каблуках и в чём мать родила. (См. роман В. Аксёнова «Таинственная страсть». — Л. Ф.) Когда меня и Аксёнова вывели из редколлегии «Юности», туда почему-то спешно ввели Кузнецова и столь же спешно командировали для работы над романом об Энгельсе в Лондон, где он и сбежал, прихватив пару микрофильмов: один — с полным текстом романа «Бабий Яр», а другой — с какими-то эротическими доморощенными арабесками. Затем, видимо, пытаясь вызвать жалость к своей судьбе, Кузнецов напечатал в «Обсервере» «Исповедь доносчика», где признался, что строчил доносы в КГБ на советских братьев-писателей, в том числе и на меня. Однако это вызвало не жалость, а презрение его западных коллег... Но я ему всё равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привёл меня к Бабьему Яру»*.

У Анатолия Кузнецова был и свой момент истины. Глядя в кинотеатре на фильм японской волны, что-то вроде итальянского «Похитителя велосипедов», он вдруг поднялся и сказал:

— Это так гениально, что я не могу больше этого видеть. Мне стыдно за всю мою жизнь...

А в Лондоне он сразу же стал сотрудничать на радио «Свобода». Вёл еженедельную программу в рубрике «Писатель у микрофона» и создал ряд великолепных образцов «исповедальной публицистики».

Чуть позже в Лондоне убили болгарина Маркова (знаменитый укол зонтиком), а в европейской редакции укололи зонтиком тоже болгарина Костова. Но Костов уже был к этому готов и, когда на улице почувствовал укол в спину, сразу сказал жене: «Вызывай такси — и в госпиталь».

Кузнецов тоже лежал в госпитале — у него были проблемы с сердцем. Курил как паровоз и как-то отяжелел. В госпитале Кузнецов узнал про убийство Маркова и покушение на Костова. Он, видимо, решил, что идёт покушение на всех журналистов радио «Свобода», жутко испугался, сбежал из госпиталя и стал прятаться. Его подобрали в беспамятстве где-то на улице, подлечили — кажется, всё вошло в норму. Он опять работал, купил дом, молодая жена родила ему дочку. Спустя несколько дней после рождения ребёнка он вернулся с работы с пачкой советских газет. И когда жена заглянула в его комнату, он лежал на диване мёртвый с газетой в руках...

Сердечный удар. Мгновенная смерть...

Вот его последнее письмо из Лондона матери:

«Мама, только не беспокойся, если от меня долго нет открытки, а ругай меня, и всё. А то я сам ругаю себя ласково и бережно.

Целую! Толя».

* Евг. Евтушенко. Я пришёл к тебе, Бабий Яр... «Текст»-«Книжники», 2012)

Ему не исполнилось и пятидесяти лет.

Так жили советские писатели.

Позже нас, студентов Литературного института, пригласили на закрытое партийное собрание писателей Москвы. Слушалось дело Анатолия Кузнецова.

Особенно отличался драматург Мдивани. У него просто пена шла изо рта, когда он говорил о Вознесенском.

В то же время появился роман о Холокосте Ицхака Мераса «Вечный шах» (писал на литовском языке, 1963, перевод на русский — 1965, иврит — 1970), «На чём держится мир» (1965, иврит 1970) и др.

«Там дальше — тоже гетто, — пишет Мерас. — Только разница, что наше гетто огорожено, а там без ограды».

В 1972 году Ицхак Мерас репатриировался в Израиль. В Советском Союзе его книги о Холокосте были изъяты из всех библиотек.

В 1979 году появилась трилогия Григория Кановича «Свечи на ветру».

«Когда в начале семидесятых я начал “Свечи на ветру”, то был уверен, что их едва колеблемое пламя будет тут же погашено цензурой, которая не позволит ему вырваться из письменного стола и вспыхнуть в десятках стран. Мной двигало единственное, никому не подвластное желание — защитить человека, возвышать его, дарить ему надежду и внушать ему, что он прекрасен», — писал Канович уже в Израиле.

Я вспомнил об этих книгах совсем недавно — в Международный день памяти жертв Холокоста, когда известная российская журналистка в программе «Особое мнение (радио «Эхо Москвы») заявила: «Я много читала про Холокост, я пыталась понять, как могло произойти, что люди, как стадо баранов, шли в газовые камеры. И почему они не восстали. Почему они не бросались на эсесовцев, которые их гнали»...

Увы! Значит, совсем немного читала. И ещё меньше из читанного поняла. И другая — та, что брала интервью, — тоже ничего, кроме общих слов о Холокосте, не знала. И ещё много, очень много других людей не знают, как ведут себя жертвы в тоталитарном государстве, когда человеческую индивидуальность приводят к общему знаменателю. Гитлер говорил, что стремится «к созданию условий, где каждая личность знала бы, что живёт и умирает ради сохранения вида». Всё! Лучшая лаборатория для этого — концентрационный лагерь.

Пишущим о лагерях уничтожения иногда самим кажется, что «это невозможно, такие вещи не могут быть правдой... Это кошмарный сон, увидевшийся мне». Вот разговор узников из книги Давида Руссе:

« — Кто не видел своими глазами — не поверит. Сами-то вы до лагеря принимали всерьёз слухи о газовых камерах?

— Нет.

— Видите! И все так... Многие люди... даже в Биркинау, стоя прямо перед крематорием, за пять минут до отправки в подвал, всё ещё себе не верили!»

Вот как описывает Василий Гроссман «переселение» западноевропейских евреев в Трeблинку:

«Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западноевропейских стран. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом еще немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны: за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд и иностранные паспорта.

Однажды прибыл в Треблинку поезд с евреями — гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, — застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряжённых с дачей больших взятков, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислужкой, в составе этих поездов были спальные вагоны и вагоны-рестораны. Пассажиры везли с собой объёмистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан.

Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков — крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах.

Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о её приближении, либо, в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нём.

Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, самый железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы-указатели: “Посадка на Белосток”, “На Барановичи”, “Посадка на Волковыск” и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая площадь. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытопанной миллионами человеческих ног. Обострённый взор людей быстро ловил тревожащие мелочи — на торопливо подметённой, видимо, за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы: узелок с одеждой, раскрытые чемоданы, кисти для бритвы, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растёт жёлтая трава и тянется трёхметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Едлец, Варшаву, Волковыск? И почему так странно усмеются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды,

молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах. Все эти вахманы в чёрных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах; их смешило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одёргивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно придергивали юбки, когда налетал порыв ветра. Их смешило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали под мышкой книги, а больные кутали шею. До двадцати тысяч человек проходило ежедневно через Треблинку»*.

* * *

Советские евреи были ещё достаточно наивными людьми. Многие из них, исчезнувшие в Холокосте, говорили на идиш. Идиш — язык удивительно мирный. В нём даже нет слов для описания военных сражений. Существует рассказ о студентах еврейской ешивы, которые во время Первой мировой войны не стреляли по окопам противника, потому что там, видите ли, могут быть люди.

Многие из советских евреев старшего поколения утверждали, что помнят немцев по Первой мировой войне: то были исключительно вежливые и интеллигентные люди. До самой войны советские газеты лишь расхваливали да превозносили Гитлера — лучшего друга Советского Союза. Среди киевских евреев можно было даже найти восторженных поклонников Гитлера как государственного деятеля.

К тому же добровольные дипломаты распространяли слухи о том, что евреи будут отправлены на работы или переселены в другое место.

Дядя моей матери уговаривал её не эвакуироваться, не оставлять родной дом. Мать не послушалась. А с дядей всё кончилось печально. Прочитав объявление: «Все жида города Киева обязаны явиться...», он пытался скрыться, но выдали соседи. Всю семью повесили на балконе их квартиры.

И всё же евреи — народ мощной силы. Иначе они бы не выжили в веках.

Еврей — профессиональный изгнанник. И опыт борьбы был у евреев немалый.

Нацисты хорошо подготовились к «окончательному решению еврейского вопроса». Как признавался на допросах сам Эйхман, расплывчатым словосочетанием «окончательное решение» было замаскировано планомерное поголовное истребление евреев Восточной Европы. Позже эта формулировка ещё не раз возникала во время следствия. Эйхман признавался, что в Главном Управлении исполнение этого приказа было доверено лично ему. Для этого его наделили специальными полномочиями. Эйхман нёс личную ответственность за исполнение этого приказа. Он не сентиментальничал. Это был приказ фюрера, и надо было его выполнять.

* Василий Гроссман, «Треблинский ад».

Эйхман изучал еврейские традиции, пытаясь найти слабые места, чтоб при случае их можно было исказить. Он также изучал иудаизм, еврейские обычаи, еврейские национальные и политические движения. Он изучал языки: иврит, идиш. Он подписывался на еврейские издания и методично изучал их...

Как складывалась ситуация в Киеве в те сентябрьские дни 1941 года?

Немцы торжественно вошли в город и начали комфортно устраиваться.

24 сентября, в четвёртом часу дня, Дом немецкой комендатуры с «Детским миром» на первом этаже вдруг взорвался. Взрыв был такой силы, что вылетели стёкла не только на Крещатике, но и на параллельных улицах. Потом прогремел второй взрыв, а за ним третий.

Немцы бросились бежать... Но быстро опомнились и стали строить оцепление.

«До войны в Киеве начинали строить метро, и теперь поползли слухи, что то было не метро, а закладка чудовищных мин под всем Киевом. Но более правдоподобными были запоздалые воспоминания, что по ночам во дворы приезжали грузовики и люди в форме НКВД что-то сгружали в подвалы. Но куда в те времена не приезжали по ночам машины НКВД и чем только они не занимались! Кто и видел из-за занавески — предпочитал не видеть и забыть. И никто понятия не имел, где произойдёт следующий взрыв, поэтому бежали из домов далеко от Крещатика» (А. Кузнецов. Бабий Яр, роман-документ. — СПб.: Астрель, 2010).

А потом пошли слухи: «Это всё жида проклятые...»

Немцам это было очень даже на руку...

В связи с Крещатицом немцы ничего не объявили и расстреляли под горячую руку 1500 евреев.

Начальник гарнизона потребовал провести публичную казнь 20 евреев.

Из отчёта Ярославской районной полиции города Киева: «Жида мстили немецкому и украинскому народу, поджигали отдельные дома, резали телефонные провода — надо было ловить и уничтожить гадов! Приходилось работать день и ночь» (Государственный архив Киевской области, лист 2, дело 227, опись 2, фонд Р-2412).

4 сентября 1941 года по прямому проводу со Сталиным командующий резервным фронтом Жуков сообщил, что на нашу сторону перешёл немецкий солдат с ценными сведениями. Сталин отреагировал своеобразно: «Вы в военнопленных не очень верьте — расспросите с пристрастием и расстреляйте».

Немцы же против советских перебежчиков репрессий не применяли.

В июле 1941 года солдаты вермахта обнаружили несколько сожжённых заживо немцев. Чины НКВД постарались, чтоб жертвы мучились подольше: привязали несчастных к деревьям и облили бензином только нижнюю часть тела. В отместку немцы расстреляли 400 советских военнопленных.

В Керчи одному немецкому врачу вытянули язык и прибили гвоздями к столу. После чего немецкий генерал записал в дневнике: «В плен никогда не сдамся».

В ответ немцы расстреляли 4000 человек.

Дальнейшее хорошо известно.

На первый день массовых казней немецким солдатам было выдано 100 тысяч патронов.

По отчёту зондеркоманды «44А», только 29 сентября в Бабьем Яру был расстрелян 33 771 еврей.

За один, только за один солнечный день! 33 771!

Практически всё еврейское население Киева.

По оценке украинских учёных, в 1941–1943 годах в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тысяч евреев, русских, украинцев, в том числе пять цыганских таборов...

Сколько их было на самом деле, всех этих убиенных, — не знает даже Бог...

И всё же люди в тот смертный час ещё не могли и мысли допустить, что это расстрел.

Во-первых, такие огромные массы людей! Так не бывает. И потом — зачем?

3 ноября 1941 года горела Лавра. Взорвался Успенский собор. Теперь людям было ясно, что Крещатик взорвали не жида. Просто не было больше жидов в Киеве.

Итак, с одной стороны немцы, с другой — местные полицейские, население города, в значительной своей части враждебные евреям. О каком здесь сопротивлении могла идти речь? Где те овцы и бараны и где те герои?

Под Вязьмой было захвачено более шестисот тысяч советских военнопленных — они большое сопротивление оказали фашистам?

Сегодня, когда Исламское государство рубит головы молодым парням, у них есть возможность сопротивляться?

Неповиновение — редкое явление при тоталитарных режимах, практически невозможное. Большинство заключённых были слишком истощены физически и морально, чтобы оказывать сопротивление эсэсовцам. Конфликты между заключёнными ещё больше подрывали возможность согласованных действий. Не было надежды и на помощь и поддержку извне — как материальную, так и моральную. Учитывая же безграничную власть эсэсовцев, способных в зародыше подавить любой очаг протеста, открытое сопротивление представлялось бессмысленным и равносильным самоубийству.

«Сопротивление исключено, — писал летом 1942 года узник Освенцима Янош Погановски, — даже малейшее нарушение лагерного режима чревато страшными последствиями». Невозможность оказать сопротивление парализовала узников ещё больше. Это были солдаты, «обречённые на безропотное мученичество», как воскликнул в Маутхаузене один узник-поляк во время тайной заупокойной службы в память об умершем товарище (Цитирую по книге: Николаус Вахсман. История нацистских концлагерей, пер. с англ. — М., 2015).

И всё же отдельные заключённые находили в себе мужество оказать открытое сопротивление эсэсовцам, даже рискуя жизнью. Хотя большая часть этих подвигов потеряна для истории, некоторые из них сохранились в личных делах, а также в памяти тех, кому посчастливилось выйти из лагеря живыми.

* * *

Не так давно скончался последний 93-летний участник восстания в Треблинке Шмуэль Вилленберг. Многие были ранены или погибли. Восстание вспыхнуло 2 августа 1943 года. Большинство надсмотрщиков пошли на речку купаться. Организаторы восстания воспользовались ситуацией. По их сигналу участники восстания подожгли газовые камеры и склад оружия. Вилленберг был ранен, но спасся.

В Ровенском гетто большинство евреев сопротивлялись. Многие забаррикадировались в крепких домах, двери которых солдатам не удавалось взломать. Тогда были применены гранаты. Молодые люди попытались перебраться через железнодорожное полотно и переплыть находившуюся за ним речку.

Часто оказывали сопротивление жители крупных гетто, если у них хватало времени к этому подготовиться. Они знали, что идут на смерть, что им суждено победить хорошо вооружённых немцев. Но они не хотели сдаваться без боя.

На закате хрущёвской оттепели была написана книга Валентина Алексеева «Варшавского гетто больше не существует». (Издательская программа Общества «Мемориал». — М., 1998) Тогда же должна была и выйти.

Не вышла. Историческая наука в пору развитого социализма идеологически блюла свою «антисионистскую» непорочность. И отторгала исследования, посвящённые запретным еврейским темам. Вот и пришлось книге обречённо лежать в столе. Книга отвергала фарисейскую мораль: почему не сопротивлялись? Эта мораль не обвиняла палачей. Она винила жертв: сами-де виноваты, коль оказались слабы. И в большинстве стран, в особенности в СССР, народное чувство отнюдь не противилось этому мифу.

Изгнанный из института В. Алексеев больше года проработал на заводе, потом устроился библиографом в Публичную библиотеку.

Темы неопубликованных трудов В. Алексеева — события в Венгрии в 1956 году. Пражская весна 1968 года — были захватывающе интересными для читателей-современников, его работы привлекли бы всеобщее внимание, если бы оказались известны сколько-нибудь широкому кругу.

* * *

Варшавское гетто — это пятьсот тысяч человек, загнанных на территорию в 307 гектаров. В гетто царил атмосфера постоянного ужаса:

«Жандармы и эсэсовцы расхаживали по улицам с бичами и пистолетами в руках, избивали встречных и поперечных, стреляя в них, как в диких животных. Часовые на вышках коротали время, подстреливая пешеходов.

Проезжая на грузовиках по переполненным людьми улицам гетто, солдаты били евреев по головам прикладами. Когда на одной из улиц с особенно оживлённым движением застрял в толпе немецкий военный грузовик, с него соскочил солдат и, недолго думая, перестрелял несколько подвернувшихся под руку евреев. Такие случаи были не в диковинку. Проходя мимо часового, надо было снимать шапку, а если немец оказывался не в духе, он бил еврея по лицу или заставлял делать гимнастические упражнения. Если шапку не снял рабочий, проходящий через ворота,

часовой открывал огонь по всей колонне. Иногда часовой останавливал группу людей и заставлял раздеваться и кататься по грязи. Любили часовые также ставить прохожих на колени или заставлять их танцевать. Немцы смеялись при этом до упаду. Были часовые, которые прославились в гетто тем, что в каждое дежурство убивали по несколько человек. «Синяя полиция» (довоенная польская полиция, перешедшая во время оккупации в ведение немецких властей) измывались над евреями едва ли меньше, чем гитлеровцы» (В.Алексеев, стр. 20).

Но люди гетто не спешили смиряться. Само выживание за трёхметровой кирпичной стеной с колючей проволокой, ограждавшей перенаселённые — по 15 человек на комнату — дома, становилось вызовом насилию. Этим людей выкашивали голод, холод, болезни и эпидемии (по 150 покойников каждодневно, 80 тысяч «естественных» смертей за первые полтора года), но они выживали вопреки всему. «Евреи вымрут от голода и нужды, и от еврейского вопроса останется только кладбище», — предрекал Людвиг Фишер, губернатор Варшавы.

Голоду и нужде сопутствовали запреты на какие бы то ни было проявления человеческой жизнедеятельности. Любое из них поэтому объективно носило характер неповиновения немецким властям. Тем не менее люди занимались ремёслами, создавали кустарное производство, торговали. Благодаря этому «Варшавское гетто быстро превратилось в крупный ремесленно-торговый центр общепольского значения».

Рука об руку с торговлей шла контрабанда, в значительной мере сорвавшая «гитлеровские планы быстрого удушения Варшавского гетто голодом». Недаром «в записках, оставленных погибшими жителями гетто, не раз встречается пожелание, чтобы после войны был поставлен памятник “неизвестному контрабандисту”».

В этом месте запретивший книгу Алексеева цензор-моралист начертал на полях негодующую пометку: «И это — хорошо?»

А мальчишки из гетто просто добывали еду себе и ближним.

Однако, упорствуя, чтобы выжить, гетто в массе своей выживали отнюдь не любой ценой, а сопротивляясь «общественному распаду личности», хотя то и другое, конечно, было во взбаламученной реальности апокалипсического узилища.

Духовное противостояние антифашистского движения Сопротивления трудно переоценить. Здесь был создан коллектив научных работников, который собирал архив документов, включая мемуары и дневники, удостоверяющие расистскую идеологию фашизма и его преступления против человечности, выпускался еженедельный информационный бюллетень, в котором велась хроника Варшавского гетто. «Подпольный архив снабжал информацией антифашистскую печать, обслуживал организации Сопротивления, по поручению которых Рингельблум, известный историк, в течение 1942 года подготовил для отправки по секретным каналам за границу ряд меморандумов о фашистских лагерях смерти и об общем положении евреев под властью Гитлера. Широкое распространение получило в гетто «тайное обучение». Выдающиеся педагоги (знаменитый Януш Корчак — один из них), учёные, литераторы давали молодёжи запрещённое

гитлеровцами образование — среднее и высшее, университетское и политическое. Тайно издавались учебники. Впоследствии вокруг подпольных гимназий и курсов формировались первые дружины антифашистов».

К началу октября 1942 года число убитых польских евреев достигло миллиона. Но место погибших занимали живые: создавались и активизировались нелегальные организации, подпольные — до полусотни названий газеты — и журналы работали на духовное обеспечение Сопrotивления нацистам.

Апогей борьбы — восстание.

Об этой странице Варшавского гетто много написано.

Но многие из нас до сих пор не знают его истории и живут мифами. Живут не правдой, а ложью.

Здесь уместно сказать о том, что случилось в Израиле.

Ада Вилленберг, супруга уже упоминавшегося художника, скульптора, писателя Шмуэля, последнего узника Трeблiнки, дожившего до наших дней (в Израиль репатриировались в 1950 году) рассказывает:

«Мы не считали возможным умалчивать о страданиях и лишениях, о потерях и страхе смерти. Обо всём том, что нам пришлось вынести в годы фашистской оккупации. Многие выжившие в Катастрофу молчали. Принято считать, что люди избегали разговоров о пережитом в те страшные годы. Это не так. Подлинная причина состоит в том, что у многих коренных израильтян тогда было превратное представление о трагедии европейского еврейства. Израильская молодёжь в те годы была настроена патриотично. И всё было бы отлично, удручало только то, что осведомлённость об истории, о Маккавеях, восставших против насильственной эллиназации евреев, превосходила информированность о событиях Второй мировой войны, о Катастрофе европейского еврейства. Молодые люди гордились маленьким и юным еврейским государством, успешно борющимся за выживание во враждебном окружении, гордились тем, что военнослужащие ЦАХАЛа стоят на страже израильской безопасности. Катастрофа не вписывалась в тогдашние представления о том, чем граждане молодого еврейского государства могли бы гордиться. Евреям, спасшимся в Катастрофу и репатриировавшимся после войны в Израиль, задавали глупые, нелепые вопросы. Говорили: мол, как же так: гитлеровцы были в меньшинстве, а вас было шесть миллионов?! Почему вы не оказывали сопротивления?! Почему покорно шли в газовые камеры? Зачем вели себя, как стадо баранов?! Людям, в чьих сердцах навсегда поселился страх, переживших голод, потерявших близких, было больно и оскорбительно слушать такие речи. И от кого? От своих. От евреев. Многие репатрианты, пережившие Катастрофу, замкнулись в себе. Предпочитали не заговаривать о переживших ужасах ни с близкими, ни с посторонними. Нам было больно. По какому праву люди судят о том, о чём не имеют понятия? Почему не учитывают, что евреев выселяли в гетто, морили голодом, тиранили, запугивали, лишали всего? Их доводили до отчаяния прежде, чем отправляли в лагерь смерти. Мужу нередко задавали вопрос: почему подготовка восстания

в Трeблинке заняла так много времени? Как было объяснить израильтянам в ту пору, что подготовка велась так, а не иначе, потому что всё могло сорваться в любой момент? Кто-то из заключённых мог донести на организаторов, если бы те поторопились и не приняли мер предосторожности. Да, могли донести из страха за свою жизнь или за жизнь близких. Потому что за одного бежавшего узника убивали тридцать других заключённых. Да. Мы не считали себя вправе обходить эту тему молчанием. Подрастающее поколение — те, кто будет жить после нас, — должны знать историю. Это должно остаться в коллективной памяти человечества. Я старалась сдержанно реагировать на обидные слова тех. Кто не понимал, о чём говорят. А Иго (муж) не мог. Он сжимал кулаки. Он готов был наброситься на обидчика, и иногда мне стоило огромных усилий убедить его не затевать драку...» («Окна», приложение к газете «Вести», 10 марта 2016 г. Из интервью Сари Маковер-Беликов).

Всё это было. К сожалению, ничего не придумано. Всё это было с живыми людьми. По всей гуманной, жизнелюбивой и цивилизованной Европе.

Ну, например, сортировка одежды, которую отправляли в Германию.

Будьте аккуратны!

Чулки складываются в туфли.

Детские носочки вкладываются в сандалии.

А стрижка женщин! Станный психологический момент.

До мельчайших подробностей продуманная плаха. Сначала у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безымянный лесной пустырь.

Там у человека отнимали вещи, письма, фотографии его близких.

Затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребёнка.

Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костёр — у человека отнимали имя.

И вот наступал последний акт человеческой трагедии: его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звёзды, ветер, солнце...

Дверь бетонной газовой камеры захлопывалась... А всего работало десять камер. Двадцать минут — и нет от 4000 до 6000 людей. Всё, над чем природа трудилась тысячелетия...

Так было в Трeблинке, Дахау, Освенциме...

Не счесть их — фабрика по уничтожению людей...

Сегодня часто трагедия превращается в фарс. Один из израильских школьников-экскурсантов с радостью позвонил маме из Освенцима:

— Мама! Я звоню тебе из газовой камеры!

... Вот ещё — голые люди не дают покоя. Голый человек сразу теряет силу сопротивления. Перестает бороться против судьбы.

А ещё голых заставляли поднять руки вверх, и они с поднятыми руками шли по дороге с белым песком, оставляя отпечатки босых ног: маленьких женских, совсем маленьких детских, тяжёлых старческих ступней.

Этот зыбкий след на песке — всё, что осталось от тысяч людей, которые шли по дорогам разных концлагерей...

* * *

...На тель-авивской набережной в кафе сидит компания старушек и старичков, неспешно беседуя на идише. Порой переходят на польский язык, иной раз на русский. Один старичок — в инвалидном кресле, приехал на встречу к друзьям в сопровождении сиделки-филиппинки, — всё время в центре внимания. Он просит эту сиделку заказать себе самой что-нибудь сладкое. И пока она послушно идёт к витрине выбрать пирожное, он говорит: вот-де его товарищ, бывший узник лагеря Освенцима, чудом выживший Адолек Корман, в свой 90-й день рождения привёз в Польшу внуков, показал им места, где умирал, и они все вместе под заводную песню лихо сплясали прямо под воротами, с надписью «Работа делает свободным». При этом на белой майке деда красовалась надпись: «Я выжил!».

А Гитлер — нет!

Шутки, которые слагались в гетто и концентрационных лагерях, выражали чёрный юмор, но обязательно оптимизм, который часто ассоциируется с еврейским юмором.

Конечно, некоторые шутки всё ещё сохранили иронию и агрессивность: «Два еврея решили убить Гитлера. Они узнали, что каждый день в полдень он проезжает мимо угла определённого дома, и, спрятавшись, ждали его с винтовками. Ровно в полдень они готовы были стрелять, но Гитлер так и не появился. Проходит пять минут — никого. Проходит ещё пять минут — никаких признаков Гитлера. К четверти первого они начали терять надежду.

“Боже ж ты мой! — сказал один из них, — Я надеюсь, с ним ничего не случилось”».

На приёме 22 августа 1943 года палач Ганс Франк сказал: «Партия, конечно, переживёт евреев».

Потеряв шесть миллионов своих братьев, евреи создали своё государство.

Победно прошли через все войны.

Посильно ли такое потомкам тех, кого называли стадом баранов, а израильтяне «сабоним» — «мыло»?

Наталия Пейсонен

Поэт, переводчик, автор прозаических текстов. Родилась в г. Петрозаводске. С 1992 года жила и училась в Финляндии. В 2008 году окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ — ГИТИС) по специальности «Актриса музыкального театра». Живёт и работает в Италии. Автор стихотворного сборника «До и после тебя» 2001 года. Финалистка международного поэтического конкурса «Ветер странствий» (2009, 2012 годы, Рим). Публикации в газетах, журналах, поэтических сборниках, литературных альманахах (1996–2014 годы). Член Международной литературной ассоциации «Таивас» (Финляндия).

ПОКАЯНИЕ

— Скажите: эта дорога приведёт к храму?
 — Это улица Варлаама. Не эта улица ведёт
 к храму.
 — Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если
 она не ведёт к храму?

*(цитата из фильма «Покаяние»,
 реж. Тенгиз Абуладзе)*

Покаяние, Кети, приходит не сразу — потом.
 По прошествии лет, по причине, при смене тирана.
 Покаяние входит с тобой в опостылевший дом,
 отражается, Кети, на дне или днище стакана.

Покаяние, Кети, пронзает ночами насквозь,
 и всплывают и вдруг проступают какие-то лица.
 И ты думаешь, Кети, что если сейчас же выпиться,
 то получится выдохнуть — кажется, вновь удалось.

Наши промахи, Кети, не сходят так запросто с рук,
 где бы ты ни случился, куда бы потом ни уехал —
 голоса раздаются, звучат оглушительным эхом,
 превращаясь в тупой, методичный, назойливый стук.

Просто, Кети, никто не учил меня жить,
а покуда ты молод — ты алчен, смел и бесстрашен.
Слышишь, милая, звон с устрашающих башен?
Но покуда ты юн, ты не знаешь, как могут звонить.

Покаяние, Кети, случится однажды как гром.
Ты проснёшься, ты вздрогнешь, ты вспомнишь застывшие слёзы.
Кети, дождь начинается! Чёртовы эти прогнозы!
Мы промокнем. Пойдём. Не тревожься, родная. Пойдём.

2016

МАМА

Мама ломает о доску мел, вынимает карты,
рассказывает классу, где Дунай, где Лена, где Уренгой.
Я сижу с Королёвой за самой последней партой.
Мама спрашивает про Кука. Кто он такой,
мне пока не известно, мне только двенадцать, мама.
Я мечтаю вырасти, уехать на край земли,
покорить океан, увидеть такие страны,
где б мы только во сне оказаться с тобой могли.
Мама, сама увидишь: я буду таким счастливым,
ты будешь сильно-сильно гордиться, что я твой сын.
А пока мы сидим с Королёвой за дальней партой
и про всякие разные глупости говорим.
Мама, мне тридцать четыре, я видел Дунай и Лену,
я был на краю земли. Я знаю, где Уренгой.
Я жил, я любил, терял и решал проблемы.
И мама в ответ коснулась меня рукой.

Октябрь 2017

К ЕВЕ

*«Я бы вплавь чрез любые моря, босиком чрез любую стужу,
только ведь я не нужен тебе. Совсем не нужен».*

Ева пишет ему в ответ ровно восемь строк:
«Я разучилась любить или быть счастливой.
Видно, я, мой друг, хлебнула и сбилась с ног
в поисках сверхъестественного мотива

для простого человеческого, что ли, счастья.
Я давно раздарила подаренные мне платья,
вычеркнув тех, кто, кажется, их дарил.
В общем, та, которую ты любил,
нет её больше, слышишь, вот как-то так.
Дальше живи». Он сжал и разжал кулак,
выдохнул, перечитал ещё, а потом ещё...
Долго слонялся, ёжился под плащом,
вымокнув насквозь, долго курил, молчал —
что-то как будто жало ему в плечах.

Это больней, когда тебя не убьют, а ранят.
— Ева, зачем я знаю, что ты живёшь?
Если бы можно было разрушить память.
Дождь продолжался. Серый московский дождь.
2017

ИЗ МАЛЫХ ФОРМ

Если мы с тобой когда-нибудь совадём,
где-нибудь на пространстве старого континента,
обещай, что тогда сойдёмся и снимем дом
в несколько счастливых квадратных метров.
Станем гулять вечерами, скрываться днём,
мерно тянуть портвейн из простых стаканов.
Просто пообещай, что однажды станем
ближе, если когда-нибудь совадём.

Солнце моё, ты уходишь за горизонт.
Надеваешь пальто, открываешь немодный зонт,
забираешь вещи и уезжаешь к Тане.
Я остаток лета ношу в кармане
потускневшую мелочь и старый ключ.
Господи, пожалуйста, обеззвучь
этот город от треска! Хочется тишины,
хочется — дажесаманезнающего. Весны?
Тёплого ветра... так, чтоб идти... идти...
И улыбнулся кто-нибудь по пути.

2017

СНЕГ

Снег кружился и падал нам маленьким городом в шаре.
Может быть, мы с тобой в этом городе тоже бывали?
Оставляли следы на заснеженных узких ступенях,
опускали в жестянку шарманщика звонкие пенни,
пробегали по сказочным улицам мимо кофеен.
Милый друг, может быть, мы с тобой это снова затеем?
Дай мне руку, доверься, шагнём сквозь стеклянную призму.
Городские часы завелись и скрепят механизмом.
В эту ночь всё возможно, бежим (чудеса не случайны!)
мимо ярких витрин, по засыпанном снегом трамвайным
на центральную площадь тянущимся прямо путям.
А над городом снег! А над нами снежинки летят!
И на площади певчие вторят себе: «Аллилуйя!»
Ты запомни меня непременно — такую!
Видишь? Чувствуешь? Вот оно, счастье — смотри!
Мы попали сюда и познали его изнутри.

Снег кружился и падал над маленьким городом в шаре.
На рождественской ярмарке толстые девки кричали,
ззывали к прилавкам народ, предлагали товар.
Ты купил мне стеклянный, диковинный, маленький шар.
2016

Бахыт Кенжеев

Родился 2 августа 1950 года в Чимкенте, с трёх лет жил в Москве. Казах. Окончил химический факультет МГУ. В 1982 году переезжает в Канаду. Член Русского ПЕН-клуба. Лауреат многочисленных литературных премий. Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский, и шведский языки. Живёт в Монреале и Нью-Йорке.

Давай о былом, отошедшем на слом, где лезвием брились опасным,
тушили капусту с лавровым листом и светлым подсолнечным маслом,
страшились примет и дурных новостей, не плавил платины в тигле,
точили коньки, и ушастых детей машинкою времени стригли —

там с неба струился растрёпанный свет, никто ещё, в общем, не умер,
и в марте томился в газетке букет мимозы (привет из Сухуми!).
Пластмассовый штырь, дорогие края, трамваев железные трели.
Куда они делись? Бог знает, друзья. Как всякая тварь, отгорели

валяжным салютом над местной Москвой, золой в стариковских рассказах.
Есть список небесный, на каждого свой, ореховых и одноглазых
грехов. Поскорее зови, не трави, другого уже не попросим.
Напрасно ли мы в потерпевшей крови, как вирус, минувшее носим?

1980 (1)

на околице столицы
где кончается метро
где студенты бледнолицы
пьют подземное ситро

нет скорее даже пиво
на скамейке серой пьют
и рассматривают брезгливо
богоданный неуют —

машет хвостом тощей бобик
улыбается дитя
лилипуты бедный гробик
поднимают ввысь кряхтя
кто невесел кто плачевен
кто-то просто невелик
их еще вспоёт пелевин
наш непалец многолик

вобла есть но нету нельмы
счастье есть но нет письма
спят немые панельны
мног'этажные дома
где вы тютчевские звезды
дух смирился век зачах
ах в блевотине подъезды
мусор в баках тьма в очах

не тверди что жизнь трясины
рудниковая вода
пиво пенится и псина
беспородная всегда
не предчувствуя удою
жестких подвигов в цеху
видит облако младое
слышит бога наверху

* * *

Се, вдоль по оттаявшей, пасмурной Лете
листок рукописный плывёт,
а ниже в глухом известковом скелете
большая ракушка живёт.

Ни чайка не съела, ни аист не слопал,
ни щучий зубастый народ.
Питается дафнией или циклопом,
а то и амёбу сожрёт.

Пусть мёртвый над ней проплывает, измучен,
пусть дух от печали зачах.
Не слышит голубушка скрипа уключин
и плакальщиц в белых плащах,

не видно моей философской красотке,
как сумрачно горестный грек
в дубовой, разохшейся движется лодке
по самой глубокой из рек.

Не спит и не бодрствует в сумрачных волнах
двустворчатых отпрысков мать,
лишь молча умеет личинок безмолвных
в летейские воды пускать.

* * *

Снег сыплет, как пепел, пускай и белей.
Вот я и отпраздновал свой юбилей,
немалую денежку пропил.
А в детстве мечтал завести хомяка —
грызун глуповатый, но шкурка мягка,
хорош, дружелюбен и тёпел.

И белая крыса с предлинным хвостом
являлась подростку в мечтанье простом,
и сахару с писком просила.
Обидно, что долго они не живут, —
кто спорит, конечно, не десять минут,
но два, ну, три года от силы.

А наша с тобою — умна и долга.
Неделя-другая — растают снега.
Эол, как положено, дуя,
согреет лужайку, и бережно кот
в подарок хозяйке в зубах принесёт
пушистую мышь молодую.

Давай полетим золотою золой
и снегом льняным над февральской землёй,
где света беда не убавит,
где звери простые, вернее, зверьки,
не ведая веры и смертной тоски,
неслышно предвечного славят.

* * *

В байковом халате кушает обед
в номер шесть палате пожилой поэт.
Кто-то пашет, сеет, истребляет зло,
а старик лысеет — видно, повезло.

Так уж мир устроен — в смысле, селяви.
Был мужик героем веры и любви.
Пёрышком нацелясь, изощрённый стих
сочинял про прелесть самочек иных.

А ещё философ он изрядный был,
множество вопросов разрешать любил.
Например, о боге и о звёздах, да
о земной дороге счастья и труда.

Презирал простóфиль, нёс духовный крест.
А теперь картофель и сардельку ест.
Жаль, сарделька эта свинкою была.
К ужасу поэта, страшно умерла.

Горек, горек, горек жалкий наш удел.
Взял мясник топорик, сердцем охладел,
и, подобно инку в золотом краю,
обезглавил свинку бедную мою.

Мы совсем не хотим палачами быть.
Но и бардам прочим, чтобы жизнь любить,
дабы жить любовью, надо много ку.
То есть для здоровья мясо и треску.

Александр Амчиславский

Родился в Москве, жил в Израиле, с 1998 года живёт в Торонто. Публиковался в журналах «Новый Свет», «Этажи», «Дружба народов», «Нижний Новгород». Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя журнала «Новый Свет» за сборник стихов «За тонким полотном» (изд. «Время», Москва, 2017).

КАНАДА

ГОРОД 4. (ВЕНЕЦИЯ)

Конечно, дружок, поезжай, в этих улицах древних
настигнет, надеюсь, тебя благотворная жажда,
и в горло прольётся густое холодное время,
и старые зёрна дождутся обещанной жатвы,
езжай, походи по капеллам, с лица незаметным,
почувствуй, насколько сумеешь, иное молчанье,
иное, поверь, чем печали твои за плечами,
напрасно боишься — ему не отыщешь замены.
Езжай, покорми голубей, прокатись на гондоле,
потри безымянные плиты подошвенной кожей,
сегодня Сан-Марко, а завтра другое, но то же,
всё едешь куда-то, а сам убегаешь от боли,
езжай, этот город, каналами пойманный в сети,
беспечен, как запахи кофе, телячьей печёнки,
там даже зимой всё иначе, и мысли о смерти
слегка опьяняют, как в юности мысли о чём-то,
вдохни эту странную смесь, посчитай это долгом,
монеткой расплатишься, с мостика брошенной завтра,
вода прибывает лениво, ни брызг, ни азарта.
Езжай. Возвращайся. Расскажешь. Увидимся. С Богом.

ГОРОД 5

Место, где я оказался, — всё тот же город,
и указательное «этот» не сделает его ближе,
помню, я вышел оттуда, и помню, что поэтому выжил,
но качается мостиком, уходя из-под ног, общий говор,
из лошадки игрушечной выросший в иноходца —
спутника одного раба, ныне вольноотпущенника,
и теперь он косит глазом, взбрыкивает, рвётся,
тащит меня от дома к дому
вдоль поезда, никуда не идущего,
ноздрями ловит подзабытый гомон
панибратского аканья — «далёко забрался», «а мы тут помаленьку»,
замолкает, потупившись, от «братишка, дружбан, старичок», —
здешние суффиксы ласковы, как тюремное пенье,
но слова — он хрустит ими, как яблоками, требует ещё и ещё,
шалая от вкуса и уже готовый к пленению,
но я рядом, и каноны местного извода
узнаю — всё те же, и подсветкой не меняются лики,
сколько их было, но не отходят мёртвые воды,
оберегают, ждут — видно, родятся новые, только клинки.
Так что хрусти, иноходец, осенним душистым словом,
растирай зубами наречья, попав на свободный выгон,
и чутко прядай ушами, пока родиной не подкован,
ещё неделя — и счастливый билет на выход.

ИЗМЕНИТСЯ ЧТО-ТО?

Изменится что-то? Едва ли, давно перебор,
по горло, под крышку бочонок заквашен стихами,
воняет отрыжкой, чернеет ломоть на стакане,
и так же по слову живому тоскует простор
немой и безлюдный. Привычно глаза отвожу,
из вечера в вечер желтею под кухонной лампой,
над буквой беспомощной клоуном грустным вишу
и вижу, как воздуху пусто без музыки равной,
а толку, что вижу, — разношен колпак шутовской,
да пятки щечочет стиха смехотворная поросль,
мой домик, мой космос игрушечный с воздухом порознь —
глядим друг на друга, и каждый исполнен тоской,
и больше закусывать квашеным не вмоготу,
не слышится в песенках суетных музыки вечной...
Сжимается домик, коптит оплывающей свечкой
и вечный простор провожает назад в немоту.

* * *

Кусочек воска, мякиш, колобок,
покажишься куда — ещё не знаю,
тебя в ладони грею, разминаю,
а вылетит... дракон ли, голубок,
быть может, крылья будут глухарю —
не петь же для себя, себя не слыша, —
чтоб он взлетел, сумел подняться выше,
куда я сам, завидуя, смотрю.
Мой хлеб небесный, музы будний фрукт!
Уж, чем богаты, дево, не побрезгуй,
своей рукой кусочек воска пестуй,
пусть наша встреча даром сходит с рук,
раденье восковое обожги
присутствием... но знаешь, лучше выжги —
живой глухарь и сам взметнётся выше,
твои услышав лёгкие шаги.

*16 июня 2017***МАМЕ**

Каждое утро несколько раз обойти свой дом
шаг за шагом, держась за коляску, шаг за шагом,
я рядом, неотвязно, как в детстве, мамой ведом,
она что-то бормочет, шепчет и если просит пощады,
то, верно, для меня, младшенького, не помнящего родства,
и толкает коляску, толкает, не давая дверям сомкнуться,
ангел помогает, наваливается — раз-два,
любит, любит свою работу Божий нунций,
маму хранит, выслушивает, ещё два дня —
останутся они один на один, когда я уеду,
он обнял маму сегодня, будто меня обнял,
говори с ним долго, родная, всю зиму, а к лету
я вернусь, и по тропинке между деревьями, как в ущелье,
друг за друга держась, мы зашагаем втроём,
и тихая песенка улетит в высокий проём,
тихая песенка о любви, о любви и прощеньи.

Октябрь 2017

* * *

Мама, старенькая, до последнего держит дверь,
мы с братом опять дети, а она — по-прежнему твердь,
виден из окна пригорок — там отец лежит,
маме не за кем прятаться — надо жить.
Мы кричим с братом: «Пусти, мы пойдём вперёд!»
«Нет, — говорит, — не лезьте, — не ваш черёд,
и пока я жива, ни за что не дам
раньше меня выйти и остаться там».
Мама старенькая, слабеет её рука,
дверь подрагивает, скоро сорвёт с крюка,
там, на пригорке, они будут опять вдвоём,
и тогда мне с братом придётся держать проём,
это продлится, надеюсь, долго — держись, брат,
ведь за нами... Господи, тише, чтоб не узнал враг!
Ты встанешь рядом, братик, прижмёшься плечом —
мы простоим, продержимся, поживём ещё,
пусть они, маленькие, всё успеют, распробуют на вкус и цвет,
у них будет достаточно времени — ведь жизни у нас две...
Старая дверь трясётся, всё страшнее рывки.
Мама, миленькая, держись, не разжимай руки!

Елена Карелина

Родилась и живёт в Санкт-Петербурге. Член Российского Союза писателей.

Публиковалась в различных сборниках, в литературном альманахе мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым». В 2014 году в Канаде издана книга стихов «Здесь и сейчас».

* * *

В этом городе штопает осень дождём
Шерстяные фасады классических зданий.

Итальянская прелесть его белла донн
Перемножена на безнадёгу славянок.

Византийская вязь вплетена между строк
Параллельных прямых нумерованных линий.

Домовитые дамы стараются впрок
Запасться поздним солнцем в преддверии ливней.

Голубиною стаей взлетает сквозняк
Из распахнутой арки навстречу трамваю.

Метронома лекало вмещает тик-так,
Чёрно-белые клавиши перебирая.

Рассветает — и всё не приходит рассвет,
Белоночье июня взыскуя сторицей.

...Белошвейка пришьёт бант из ленточек лет
На исподнюю память петровской столицы.

В НАПРАВЛЕНИИ БЫВШЕГО РАЯ

На стихи Михаила Сафина (Шрайка)

Мне б успеть рассказать, где меня эти годы носило.
В моём маленьком мире росли золотые ромашки.
Что ещё?

...По весне я веснушки сводила насилу,
Неразумная, изведя молока несчи... тайные чашки.

Бились чашки (на счастье?), и падали звёзды-растяпы,
Обещая желанья исполнить.
Наивность святая,
Собирая осколки, поранила нежные лапы
И, хромая, ушла в направлении бывшего рая.

Рая нет.

Как и ада, пожалуй, не нас удостоят.
Знаешь, мне не до них в эту странную-странную пору.
...Уходили ахейцы, оставив нетронутой Трою,
Уносили дары.

Есть ли прок нам с историей спорить?

Нашу боль временных расслоений на боль расстояний
Перемножив, стараемся выжить, и пишется снова.
Нынче март.

В парке ветки кустов обнажённо-багряны.
Обнажённо-багряно молчанье — до первого слова.

ВЕРБНО

Аллергично-весенне-вербно:

— Пчхи!

Она пробегает мимо.

В стопятысотый раз — словно в первый —

Скулы сводит — спросить бы имя.

Окна — радужно-свежемыты,

От асфальта парит, как в бане, —

Солнце жарит нынче с избытком.

На неё таращатся парни.

Понимаешь их — слишком явно

Хмуришь лоб, кулаки сжимая.

Дни летят сквозь цветенье яблонь

На подножках лихих трамваев.

Она — рыжая и в веснушках.

Обгорела — лупятся плечи.
Желваками играешь — душит
Ревность.

В ночь утекает вечер.
Знаешь окна — не гаснет долго
Свет.

Придумываешь — и злишься:
Выпадает из кос заколка,
Губы алые слаще вишен.
Взял бы на руки, нёс бы к звёздам -
Долго...

Взвыл бы сейчас по-волчьи.
Тучи ярятся — это к грозам.
Утром взглядом проводишь молча,
Понимая: пропал.

И верно —
В сто пятьсотый раз она — мимо.
Что ты ждёшь?..

Сметет время-жернов
Золотую вербу, любимый.

ПОВЗРОСЛЕЮ — ДАВНО ПОРА БЫ

на стихи Алексея Порошина

...Убегаю?..

У шифоньера
Из-под лака прожилками — нервы,
Ну, ещё бы: ты любишь стерву.
Ты был первым моим...

Ты — первый...
Так ломают весною вербу
Под сердечные перестуки.
Впрочем, что до чужой доуки?
Говоришь всем о сладкой суке.
Пусть меня белый свет осудит,
Пропадая, наверное, в блюде,
Растеряю себя в столицах —
И меня никогда не будет.
Прожигают мои ключицы
Золотыми перьями угли
Самых-самых сказочных сказок
Из почти позабытых книжек...
Мы в проблемах бредём и вязнем —
Не по горло, а много ниже.
...Я тебе не жена, не дочка,

Не любовница, так — услада.
От меня ничего не надо.
Я по вазам твои цветочки
Расставляю, чёрт возьми, устала.
Я зверею от ароматов,
Я тону в их девятом вале.
...А ещё я ругаюсь матом
В телефон, что звонит ночами.
Безнадёжно и бесполезно.
Надрываются с горя чайки
Утром пурпурно-диатезным.
...Напилась бы я, да непруха —
Нет ни водки, ни валерьянки.
Из часов мне кукушка ухнет,
Подгорит, как всегда, овсянка
И сбежит — в непонятках — кофе,
Растекаясь в густую лужу.
В сотый раз повторю: мне пофиг.
Мне никто, даже ты, не нужен!
У тебя тыща дел — а как же,
Без тебя не идёт работа...
Я киваю под эту лажу:
Вновь суббота канет в болото.
Я займусь чем-нибудь полезным,
Неприменно и с возделеньем.
Можно всё: прыгать с крыши в бездну
Или спать — не с тобой, а с ленью.
...Или, плюнув на все приметы,
Разметав к чёрту все препоны,
Не дождавшись тебя и лета —
Счастья мерного по талонам, —
Закричать — чем я хуже чаек, —
Отражаясь от неба эхом.
Разрывая свои печали,
Выгнув тело в припадке смеха
И отрезав косичкой нервы,
Повзрослею — давно пора бы.
Ты у суки был просто первым.
От тебя ничего не надо.
Всё.
 Не буду отныне помнить,
По кому я ночами выла.
Ты хотел и сбежал на волю.
Иногда слева вдруг уколет:
Нам с тобой так прекрасно...
Было...

ДЯДЯ МИША

Дядя Миша* парит над толпою.
Замрите — наши ангелы рядом.
Распахнутый Питер
От Невы до Невы.
В суете привокзалья
Голубиною стаей с перрона взлетает
То ли память, а то ли предчувствие встречи.
Город сшил из тумана защитные френчи
И пытается спрятать нас всех под зонтами.
Бессезонье.
Вневременье.
Знаете, тают
Эскимо и сосульки,
Да дело не в этом.
В голубом растекается клякса рассвета.
Желтоватый пергамент, расписанный бурым, —
Письмена на фасадах.
Но арок купюры
Не дают прочитать от календ до сегодня.
Транспаранты рекламные пёстрым исподним
Обещают исполнить, открыть и открыться.
Утром радостно чайник посвистывал рыльцем.
Этажей не считая, бежали ступени
И плескалась лилово сирень в исступленьи.
Только это — ляссе в ежедневнике, точно.
С позабытого сделали слепок.
Подстрочник.
На скрижалях булыжных свои откровенья
Выбивали навеки.
Наивные!
Время
Мостовые сменило, как модница — шляпку.
Полдень.
Грохнула пушка.
Нам зыбко и зябко.
Дядя Миша, пожалуйста...
Впрочем, неважно.
С голубями летает журавлик бумажный.

* Трубач дядя Миша (Михаил Михайлович Тюменцев) — известный уличный музыкант Петербурга.

Мария Амфилохиева

Мария Вальтеровна Амфилохиева родилась в Ленинграде. Окончила факультет литературы и русского языка ЛГПИ им. А.И. Герцена. Член Союза писателей России с 2004 года. Поэт, прозаик, критик, редактор. С 2000 года совместно с поэтом Владимиром Симаковым проводит по субботам Литературные чтения в зале на пл. Чернышевского, 6. С 2008 года состоит в поэтической группе «ОКНО», выпуская вместе с Маргаритой Токажевской журнал поэзии с таким же названием.

* * *

Зари вечерней краски горячи.
Расплавленное солнце истекает
За горизонт и, кажется, не знает,
Воскреснут ли ещё его лучи.
А мы пойдём в нахлынувшей ночи
И растворимся в запахе сирени,
Нас уведут незримые ступени
Туда, где утро светлые мечи
Куёт из тьмы и к таинствам ключи
Вручает нам, постигшим на минуту
Сквозь смертный страх и жизненную смуту
Бессмертье догорающей свечи.

* * *

Под щебет птиц зайдёшь глубоко в рожь,
Сомкнутся над макушкой колосья,
За ними потеряешь небо вовсе
И заново нескоро обретёшь.
До той поры, пока насущный хлеб
Считается залогом жизни верным,
В качании ржаных колосьев мерном
Нельзя расслышать поступи судеб.

Осёл упрямится. Копытами в песок
Упёрся, и глаза горят азартно.
Забудь, что обещал приехать в срок:
Сегодняшний каприз продлится завтра.

Мудрец садится задом наперёд
И, созерцая скромно хвост ослиный,
Он в руки сливы веточку берёт
И складывает с веточкой оливы.

Осёл в тоске. Мудрец исполнен дум
И радости. Осёл же озабочен,
Озлоблен и напористо угрюм —
Он своевольем выделиться хочет.

Подумай сам — и выбор за тобой:
Жить с мудрой иль ослиной головой.

* * *

На свежесть зеленеющих ветвей
Досыта невозможно наглядеться.
А ветер то потише, то шумней
Кольшет и кольшет полотенца,
Полотнища, и малым лоскутком
Он не пренебрегает, пробегая.
Он помнит: за обыденным листом
Его судьба, счастливая и злая.
То, почки разрывая тесный плен,
Шуметь и шелестеть в вершине гордой,
То, сжавшись от осенних перемен,
Удариться о землю красной мордой.
А после обратиться в перегнутой —
И снова вверх, с весенним талым соком,
Чтоб напитать зелёный лист иной
Надеждой на родном суку высоком.

* * *

Тянуться вверх у дерева учусь,
Бежать вперёд — у речки серебристой.
Грядущих лет, сокрытых в дымке мгlistой,
С кукушкой отсчитываю пульс.

Но есть ещё над головой, вон там,
То синяя, то огнистая пропасть.
Пред ней всегда испытываю робость,
Хоть вход открыт в высокий этот храм.

Там звёздный свет рисует на песке
Простых имён забытых начертанья,
Но так и не приходит пониманье
Тех слов на непонятном языке.

ЗАМОК

Ветер клонит деревья и травы,
Поднимает крутую волну.
Я, исполнен дремотной отравы,
Тяжким взглядом упёрся в луну.

Затвердели уставшие члены,
И на древке стал флюгером флаг,
Крепки замка старинные стены,
И не сдвинутся даже на шаг.

А вокруг всё колышется, льётся,
Бьёт поклоны озёрный тростник,
Лишь твердыне стоять остаётся,
Немота не сорвётся на крик.

Вся надежда, что время подточит
Неподвижности каменный плен.
Старый замок не вечен. Он хочет
Перемен.

Кошка — ковриком на полу,
Шёрстка цветом совсем в золу,
Тихо-тихо лежит в углу —
Предсказание.

Бродит смертушка, будто рысь,
Этой кошке не скажешь «брысь»,
И уже приоткрылась высь
Понимания.

Разрушенье ждёт каждый дом,
Забывание — каждый сон,
Это просто волны времён
Прикасание.

Гарь желаний — горька зола,
Видно, жизнь в основном прошла,
Час подходит — и все дела —
Замирания.

В ЛОДКЕ

Лодка скользит по блестящей глади,
Лунных пылинок лёгок полёт.
Кто от надежды меня отвадит,
Может быть, грешницу и спасёт.

Вёслами ласково волны глажу,
Весело плыть на овал луны.
Ловко миную разума стражу
На гребешке золотой волны.

Станет легендою длинной, млечной
Полночи плавной пленительный плен.
Плыть бы и плыть за луной беспечно
И ничего не искать взамен.

* * *

Колбы румянятся яблочк поспевающих
В ветках — алхимика лапах корявых.
Лето и осень под ритмы нездешних
Песен танцуют. И дождик вертлявый
С ними. А вот по дорожке чуть влажной
Яблочко катится вдаль колобочком.
Хочешь за ним? И не так уже важно
Знать, что преградой — ближайшая кочка.
Сад, пожелтевшей марлёвкой прикрытый,
В честь сентября обнажён без опаски.
Под водостоком разбито корыто.
Яблочный запах. Размытые краски.

* * *

Кошка прячет в мягких лапках
Коготков стальных кинжалы.
Не хватай её в охапку,
Не мани на сыр и сало.
Всё равно коварный хищник
В ней прикрыт пушистой шкуркой.
Каждый зверь — добычу ищет.
Исключение ли Мурка?

Впрочем, в собственную душу
Загляни-ка ты, подруга.
Чуть покой её нарушишь —
Пробуждается зверюга.
Всколыхнёшь инстинктов сразу
Стаю дикую в груди...
Приручаем только разум,
Подсознание не буди!

Владимир Симаков

Поэт и публицист, родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт культуры (1974). Работал в ленинградских газетах, главным редактором областного издательства «Вести» (1992–2013), член Союза писателей России (с 2001). Автор 15 поэтических и двух публицистических книг, редактор-составитель ряда коллективных сборников и антологий. Лауреат литературных премий им Александра Прокофьева («Ладога») и Михаила Дудина. Участник международных книжных фестивалей в Белоруссии и Сербии. Стихи переведены на сербский, финский, якутский языки. Награждён медалью ордена «За заслуги переел Отечеством» II степени (2013), знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» (2015).

* * *

*«Любовь случилась, жизнь произошла...»
Валентин Голубев*

А жизнь уже произошла,
И главное давно случилось,
Но не закончены дела,
И вновь на всё — господня милость.
И как себя ты ни готовь
К ужимкам и прыжкам Фортуны,
Расчёты спутает любовь,
Застонут нервы, словно струны.
Построишь дом, создашь уют,
Достигнешь славы и почёта —
Ветра развеют, разобьют
Благополучие в два счёта.
Зачем тогда на склоне лет
Жалеть о прожитых потерях
И нищим с горсточкой монет
Искать обетованный берег?
Не стоит силы и труда.
Жизнь, словно женщина, коварна,
Как недоступная звезда...
Ей только память благодарна

За то, что жизнь — произошла,
За то, что главное — случилось,
За то, что есть ещё дела
И греет Божеская милость.

АИСТЫ

Владимиру Морозову

Аисты над водами Шелони,
В синем небе крылья распластав,
Кружатся. Внизу пасутся кони,
Ветер носит сладкий запах трав.
Охраняют гнёзда и посевы:
Сверху птицам ворога видней.
Русские, родные люди, где вы
Потерялись в сутолоке дней?
Дремлет деревенька на пригорке.
Тишина — и только шорох крыл.
Мне сегодня радостно и горько:
Я сегодня Родину открыл.

25.07.2008 г.

* * *

В бездомности моей — бездонность
Бескрайних океанов и пространств.
В ней облаков пленительная томность
И озорство лихих непостоянств.
Лучей горячих редкое лекарство,
Бальзам обмана, вольницы кураж,
Когда, некоронованный на царство,
Как царь, выходишь на пустынный пляж.
И женщины — надменные принцессы —
К ногам слагают щедрые дары...
Идут невероятные процессы
По неизвестным правилам игры...

* * *

Ещё не всё сказал,
Ещё осталась боль,
И в мире много бед,
Страданий и разлада.
Мне сумрачный вокзал
На раны сыплет соль,

В глазах темнеет свет —
И ничего не надо.
Уеду, но куда?
Останусь, но зачем?
Никто нигде не ждёт,
И город — как пустыня.
Холодная звезда
Не вдохновит ничем,
Лишь у родных ворот,
Как наблюдатель, стынет.
И ни один герой
Не выручит пока,
И колокольный звон
Не распугает стаю...
Мне кажется порой,
Что замерли века,
И под стеклом времён
Никак я не отгаю.

ЗИМНИЕ ЖУРАВЛИ

В декабре, под морозным небом,
В ледящей до слёз дали,
Это быть, а быть может, небыль —
Пролетели вдруг журавли.
Над коробками новостроек —
Обезличил дома бетон —
Был косяк их предельно строен,
Слышен голос их, будто стон.
Два журавлика вслед за стаей
Промелькнули размахом крыл.
Отчего же они отстали?
Знать, вожак непреклонен был...
Отчего же они остались
В петербургской зиме крутой,
Вслед за осенью не пытались
В страны южные — на постой?
Может быть, на земле любимой,
Где пристанище для души,
Им теплее казались зимы
И уютнее — камыши.
Но пошёл в наступленье город,
Всё суровее стали дни —
А беда их по свету гонит,
И летят за судьбой они.

Марина Гарбер

Поэт, эссеист. Родилась в Киеве (Украина). Эмигрировала в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор четырёх книг стихотворений (последняя — «Каждый в своём раю», М.: Водолей, 2015). Публикации в журналах «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литература», «Нева», «Новый журнал», «Плавучий мост», «Слово/Word», «Стороны света», «Урал», «Шо», «Эмигрантская лира», «Homo Leggens» и других. Живёт в США, штат Невада.

«ВСЕМ ПОВОРОТОМ: “ДА”»

(о поэзии Елены Игнатовой)

Архетип «дома» не нов для русской литературы; вспомним дом-подполье у Достоевского, или маниловскую усадьбу на «открытом всем ветрам» юру у Гоголя, или антидом, «как госпиталь или казарма», у Цветаевой... Закономерно, в периоды великих потрясений — личного ли, общего ли характера, — образ дома обретает особую смысловую значимость. Говоря о доме как о месте рождения, становления, старения и, наконец, смерти, говоря о порядке в его стенах или о сумятице, царящей за ними, поэт определяет и собственный локус — географический, духовный, культурно-исторический. В случае Елены Игнатовой этот разносоставный локус одностепенен и динамичен одновременно — и хочется сказать «пограничен», но слишком затёрт этот эпитет в силу частого его использования применительно к творчеству поэтов-эмигрантов. Ключевая дихотомия поэзии Игнатовой — «внутреннее — внешнее». Вот как описывает поэт первую из упомянутых составных:

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
 бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
 творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
 о колоколе воздушном, хранившем меня?
 Вечером мамина тень обтекала душу,
 не знала молитвы, но всё же молилась робко.
 В сети её тёмных волос — золотая рыбка,
 ладонь её пахла йодом... сонная воркотня.

Домашнее пространство — это прежде всего тихая, кроткая, но свобода: «внутреннее» — не то чтобы необъятно, но при всём вынужденном ограждении от «внешнего», безгранично — в том смысле, что неприкосновенно извне, защищено. Эта духовная крепость, хоть и крепка, — хрупка, поскольку по большей части — бумажна. Речь у Игнатовой нередко идёт о книгах: «детства круглый свет — под лампой зрела книга» (вот она, надёжнейшая и хрупчайшая из оград!); или: «на восточный манер испечён [...] «Конашевича мир шерстяной» (помнит ли ещё кто этого даровитого оформителя книжек детских сказок?)... «Внутреннее» и измеряется иначе — не высотой и шириной, не прочностью и утилитарностью, а глубиной. Глубина и производные от него — важный для Игнатовой параметр, первый критерий, мера всего того, что воистину ценно: «Есть глубиною в сердце — память»; «Всей глубиною крови я льну к забытым, / тем вавилонским пятидесятым...» И если даже промельком в тексте говорится о глубине, можно предугадать, что именно это измерение окажется спасительным, как, например, в нижеследующем отрывке, где поэт говорит о глубине небесной:

Когда всю глубину его вберёшь,
вороны обрываются с берёз,
кричат протяжно, кружатся в истоме.
Но луч блеснёт — и виден парк насквозь:
жемчужный, ветхий, барственная кость —
мерцающий на мокром чернозёме.

В связи с этими строчками мгновенно вспоминаются тютчевские: «Небесный свод, горящий славой звёздной, / Таинственно глядит из глубины...»... И как часто в стихах Игнатовой контрастом «внутреннему» и домашнему предстает «внешнее», городское и загородное, где «водкой горло сожгло или воздух сомкнулся железом — / нет дыханья в груди на пути окровавленным лесом». Расположенное «вне» и «за» предстаёт то заповедником, то тюрьмой; это «внешнее» жёстко огорожено, замкнуто, в нём зачастую тяжело дышать:

Я на улицу выйду. Смердит.
Пот рабочий стекает с трамваев,
важный гость на «Аврору» спешит,
чёрным бесом метнётся, пролетает.
Светлоглазый ребёнок со мной
(тихий шаг в институтские парки),
пламя прелести кроткой земной
на лице его светит неярко.
Повторяй же: «В провалах, в крови —
словно ласточек гнёзда слюною —
силой неутолимой любви
материнской — скреплён надо мною
свод небес». Этот город прими,
заповедник советской России:
жесть и известь, секретных НИИ
низколобых — подъезды пустые.

Начиналась застройка с тюрьмы
и с дворца, где не видно хозяев,
у реки, над которою мы,
как бескрылые птицы, играем.

Вкус эпохи в этих стихотворениях — медный: это и «вкус железа на губах», и «медногубая музыка осени» (военно-оркестровая?). Фактура — по большей части твёрдокаменная: лица, люди, сам город: «мокрый мрамор в траве», бетон «виноградной грозди», «кони бронзовые бродят на воле...»... Здесь оправданы и фонетический «скрежет», и нижеследующая «речёвочная» интонация:

Город, город, обезумел, ярится:
в новостройках чуда реализма —
кто с отбойным молотком, кто с винтовкой,
баба с каменным снопом в изготовку.

Запах — металлический («рельсы пахнут серебром»), железный и болезненный (помню этот нестерпимый запах железа, которое вливали в меня по утрам из глубокой ложки в детской больнице), но не целительный, а отравленный («отравлен хлеб, и воздух выпит» — как здесь не вспомнить Мандельштама):

Запах нашатыря, истлевшего снега,
воздух с примесью яда,
битый кирпич, дебильный Ильич...

Примечателен возникающий в стихах Игнатовой мотив охоты («Зверь ощерен. Камень холоден. Охота»; «только камень и кровь, и спокоен стрелок на охоте...»), ведь охота — это всегда казнь, всегда убийство, предполагающее наличие жертвы и палача.

У моей ли судьбы во все очи лазурь без зрачка?
Щедро дарит она, а в конце — ледяного щелчка,
как ударом ствола добивают подранка.

.....
Здравствуй, здравствуй,
зверинец постылых чудес:
чугуна тирания и каменный лес —
мы готовы для праздничной казни.

Иногда слог Игнатовой отрывист, как в ламентации; так, два, казалось бы, несочетаемых штриха-вздоха описывают блокаду: «Два сломанных стула. Два тома Блока»...» Цветаева, некогда гениально «обыгравшая» звучание фамилии чтимого ею современника («Имя твоё — птица в руке...»), не могла предугадать это, тогда ещё не различимое, не воплощённое трагедией созвучие: блокада — Блок. Перед читателем по большей части зимние, ночные стихи, петербургские. В них почти всегда холодно, «город чёрен и точенточён», как в «Записках о Петербурге» пера Игнатовой. Любопытно сравнить её город с пушкинским Петербургом в «Медном всаднике» или же с городом Бродского в поэме «Петербургский роман»:

Окно вдоль неба в переплётках,
 между шагами тишина,
 железной сеткою пролётов
 ступень бетонная сильна.

Та же неоднородная и неподатливая фактура... Правда, Петербург Игнатовой — это и Вавилон:

Литовский стих у царскосельских статуй,
 грузинский — пышноцветный и богатый,
 и Сёдергран мистический узор...

Пожалуй, отчётливей всего в поэзии Игнатовой слышна переключка с «декабрьской Лигейей» в крови («в крови растворённая медь»), с «ворованным воздухом» («воздух тайком добывая на чёрном морозе»), с «блаженным» и «бессмысленным словом», ночным бормотанием Мандельштама («и громче в нас ночами бормотанье») — порой прямая, а иногда по касательной, через «посредника» и собрата, созвучного поэту современника — Бахыта Кенжеева.

И эти мотивы двойственной природы родного, это противоречивое соположение метафор «внутреннего» и «внешнего» служат Игнатовой для отображения сложных отношений поэта с родиной — не радужных, иногда доводящих до отчаяния, но никогда — до отталкивания.

Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
 что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста?
 Изгнничество, в даль твою гляжу остолбенело,
 не узнавая языка. И дышит чернота.

Путеводный образ этой поэзии и, возможно, жизни поэта — жена Лота, конечно же, не дословно библейская, не буквальная (образ, косвенно или напрямую задействованный во многих её стихах). Значимый, хоть и не из центральных, библейский персонаж переосмыслен поэтом, точнее — прожит ею. Потому и сходства между героиней Игнатовой и Ирит (так звали жену Лота, чаще не называемую по имени, безымянную «жену», спутницу праведника) — базовые; персонаж — лишь материал, из которого поэт лепит своё: и соль, и руда, и даже серный дым — всё пригодно для этой лепки. Образ Ирит прослеживается через всё творчество Игнатовой, и не только поэтическое — не случайно воспоминания поэта озаглавлены выразительным деепричастием прошедшего: «Обернувшись». Поворот, определяющий ракурс, — назад, в прошлое, в молодость, в детство сына и дальше, уже в свой «заповедник детства» пятидесятых, «в застоявшийся воздух знакомый», и глубже, в фамильное, личное, что, оговоримся, неотделимо от общенационального (цикл «Родственники» — пожалуй, один из самых портретных; «страшно и сладко» от этих лиц и судеб, от любви и молитв, от стихов поэта). Но такой полный, бесповоротный, добровольный (не столь смиренный, сколь исполненный доброй воли, желания добра, благожелательности без душещипательного благодушия) ход — не калька с библейского, а лишь исходная точка для интерпретации,

и дальше — для развития. Лирическая героиня, подобно Ирит, каменеет, ибо «всё отнимается, всё, чем душа жила», но, в отличие от Лотовой жены, продолжает жить. Игнатова, возможно, подсознательно, неумышленно даёт нам возможность увидеть, какой была бы Ирит, не превратись она в соляной столп, не пади от увиденного, от боли разлуки, от физического отрыва и разрыва, замертво. Если бы Ирит выжила, осела в Сигоре и писала стихи, кажется, она писала бы именно так:

И не хочется ей возвращаться на круг —
в наваждение слов и смыкание рук,
в кочевое сиротство неволи.
Но она, задыхаясь от нежности, пьёт
этот яд ледяной, этот жалящий мёд,
расставания мёртвую воду,
и на оклик встаёт, и покорно идёт,
и не помнит уже про свободу.

Тосковала бы жена Лота по Содому, согласно устной Торе, городу её детства и юности? Несомненно.

В кислородном морозе пьянящей любви
вижу губы, широкие очи твои,
и душа просыпается в боли.
Что за боль! Только в юности можно стерпеть
это жженье, в крови растворённую медь,
но вдыхая осеннее пламя,
я не знала, что не заговорены мы
от подземного жара, провидческой тьмы
и от нового неба над нами.

.....
Что же захватит с собой впопыхах
в иерусалимский пылающий мрак
новый пришелец, вступая?

.....
Лица любимых? Их не разглядит.
Сонную воду, зернистый гранит,
серую розу из Блока?
«Степь, мол, кругом...» или
«смерть, мол, кругом...» —
что он бормочет в безумье своём,
не разобрать издалёка.
Мускулы снега в пространстве степей,
узкое небо, стеклянный репей,
сливочный свет снегопада,
песни обрывок, оскому во рту,
первый младенческий крик в темноту,
больше не надо, не надо...

.....
Мы выехали из лесу. Вповал
в телеге спали дети. Сонный ветер

распаренные лица обдувал,
и неба край, уже горяч и ал,
сиял сквозь ветви.
Ещё к деревьям прирастала тень,
ночная птица медленно летела,
и мальчик мой, похож на всех детей,
зарывшись в сено, спал на животе,
и прядка на виске его вспотела.
Цветущая лесная колея,
тихоня-конь, разморенные дети,
и голубое поле льна в просвете...
О, будь благословенна, жизнь моя,
за то, что ты дала минуты эти
пронзительного счастья бытия!

О, совсем иной была бы жизнь Лота, Лотовых дочерей и двух ветвей, проросших из этого семейного древа, если бы Ирит выжила, если бы была поэтом! Редчайшее в поэзии явление — когда пересмотренный классический образ соразмерен выбранной миссии:

Вот он, родной словесности простор:
рифмуются «топор» и «приговор»,
нога скользит в крови и тёмных росах,
и жутко мне самой на берегу —
я соли кровяной не сберегу,
и если нас подстрелят на бегу,
останется чужой и безголосой
она в могиле, в рощинском снегу.

Безусловно, значимый, определяющий жест «оборота»... При этом — определяющий ракурс, направление взгляда, но не движения, поскольку героиня Игнатовой движется и обживает новое пространство. Так бывает, ноги сами несут...

Я начинаю движением губ превращенье созвездий
в шитую знаками шерсть, в письмена золотые,
и, запрокинув лицо, напрягая затылок,
ты разбираешь по ним отдалённые вести
[...]
Боскеты его — гравюры, пруды его — акварели,
ты, ускоряя шаг, не шевельнёшь даже пыли,
но мы здесь перекликались и не тенями были,
и среди каменных лиц наши лица не каменели.

Условно поэзию Игнатовой можно разделить на две — неравнозначных, но сопоставимых — части, и в первой царит зима, ибо — Ленинград-Петербург, а во второй — всё, что за ним, вне его. В какой-то момент кажется: вот просвет, вот отдушина (перечтите «Век можно провести, читая Геродота...»), поскольку поэт умеет нащупать и чужую, непривычную фактуру, которая послушнее и мягче привычной, расслышать и повторить

другой звук, эту «музыку вчуже» (гобой и валторна), вобрать «сладостный» воздух дальней земли — греческой, итальянской, средиземноморской. Да, время от времени мягкость и сладость нет-нет да проступают в игнатовских текстах, с особой отчётливостью — в текстах «деревенских», или крымских, или израильских. Но это лишь краткое, почти невольное отступление, чтобы тут же вернуться, решительно и всецело обернуться, снова и снова превращаясь в соляной столп. У южного солнца русский стих не берёт ни тепла, ни света, он переплавляет этот свет в печаль (этот парадоксальный процесс замечательно описан Владимиром Ильиным в его изящных «Эссе о русской культуре»). Вдохновение поэта берёт начало из другого источника: «кастальская вода в ключах твоих поёт / настоем бедности бессмертной и печали». Из этой бедности и печали рождается человек, и только потом — стихи:

И громче в нас ночами бормотанье
о том, что эта нищая земля
дала нам тело наше и поля.

Всё — сон и явь, вкус металла и мягкость травы, глубина бездны и неба — сводит воедино речь; речь как источник жизни, способный растопить лёд:

Не просыпаться. В губах матерей
вкус серебра и мяты.
Как бессмертны и как богаты
мы были любовью их...
Нас уносили в сон, в темноту:
очнёшься — кругом пустыня в цвету,
тихое пение за стеною —
о ямщике, что клонится в снег,
о роднике, где горячий свет
над ледяною водой живою.

Стихотворения, связанные с Иерусалимом, в целом светлее и теплее петербургских, и подобная перемена связана не только с климатом и ландшафтом, но прежде всего с понятиями свободы и веры — не пустой для поэта звук. Более того, такая перемена естественна, как естественна смена времён года — с той поправкой, что из игнатовской петербургской зимы читатель, минуя оттепель, попадает в вечное иерусалимское лето; весна, вопреки её универсальному символизму, обычно связываемому с пробуждением, у Игнатовой почти пропущена; возможно, на весенний период выпадает соляное забвение...

Неосмыслима с родиною связь,
а наши дни — листва для пережня.
Она крушит меня, не изменяясь,
не как крошат комки земли весною:
вдыхая, и завися, и гордясь —
а так, как в осень сбрасывают грязь
с подошв — и оставляют под стеною.

Мы не знаем, чем на самом деле был мотивирован оборот жены Лота, осознанно выбранный ею «обратный порядок». Тоской по полноте земной жизни (с ударением на прилагательном)? Болью расставания с прошлым? Недоверием Божьим посланникам, под руки выведшим её из стен родного дома (для контекстного сравнения см. стихотворение Игнатовой «Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый косьбой...»)? Библия, пользуясь определением Умберто Эко, — «орегата aperta», то есть открыта для интерпретации... Но мы знаем, чем движим поэт, который слышит «голос правды небесной против правды земной» (Цветаева). Оборот в данном случае — не дерзость, не жест непослушания, напротив, «золотая наука смиренности», подчинение естественнейшим из законов — тяжести и притяжения, оборот как отсутствие выбора, когда не обернуться невозможно. Отвернуться означало бы отречься, а чувство сопричастности и связи — стержневые в поэзии Игнатовой. Отсюда — исполненные нетеатрального драматизма стихотворения, отсюда же чувство сопереживания бедствующим, тихий свет приятия — беды, но не её источника. Отречение было бы неслыханной, непозволительной жестокостью по отношению к оставшимся, любимым, ушедшим и поныне живущим; такой выход слишком сподручен, непозволительно лёгок, о чём поэт тоже пишет: «Что болтаю? Какое мне дело до этих людей? / Отпусти меня, мать, позабуди меня, дай мне укрыться!» Вырваться — не столь ради собственного спасения, сколь для того, чтобы, имея твёрдую почву под ногами, протянуть руку. Жест, продиктованный отсутствием выбора для поэта сострадательного наклонения.

Я поняла, разбившись о края
сосуда боли, кремниевой чаши, —
срастается за ними жизнь моя,
и никогда уже не будет — наша.
Так полузахлебнувшийся зверок,
ещё цепляясь за ковчег днище,
не видит, что его звериный бог,
когтями раздвигая воды, ищет.

«Российская жена на чужбине» живёт и пишет так, будто говорит своей многострадальной земле (и её народу, и её истории, этот народ не щадившей): «всем поворотом: “Да”». Не самодовольное осознание собственной правоты, а способность отличить зло от добра и тьму от света не позволяет загрузеть, ожесточиться, окаменеть (согласно поэту, самое мёртвое из человеческих состояний). Поэт каменеет от боли, но сначала эта боль будет вызвана откликом, состраданием, полным и непрерывным поворотом — назад.

Под каким бы бетонным надгробьем,
в какой бы земле ни уснуть,
эти пажити горя, о, только бы помнить и видеть!

Марина Гарбер, Лас-Вегас

Александр Габриэль

Минчанин, с 1997 года живёт с семьёй под Бостоном (США). В России изданы четыре книги стихов, имеются многочисленные публикации (25 только в журналах Журнального зала). Дважды лауреат конкурса им Н. Гумилёва (Санкт-Петербург, 2007 и 2009 годы), лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2014), обладатель премии «Золотое Перо Руси» (Москва, 2008).

БОСТОНСКИЙ БЛЮЗ

Вровень с землёй — заката клубничный мусс.
Восемь часов по местному. Вход в метро.
Лето висит на городе ниткой бус...
Мелочь в потёртой шляпе. Плакат с Монро.
Грустный хозяин шляпы играет блюз.

Мимо течёт небрежный прохожий люд;
сполох чужого хохота. Инь и Ян...
Рядом. Мне надо — рядом. На пять минут
стать эпицентром сотни луизиан.
Я не гурман, но мне не к лицу фастфуд.

Мама, мне тошно; мама, мне путь открыт
только в края, где счастье сошло на ноль...
Пальцы на грифе «Фендера» ест артрит;
не потому ль гитары живая боль
полнит горячий воздух на Summer Street?!

Ты Би Би Кинг сегодня. Ты Бадди Гай.
Чёрная кожа. Чёрное пламя глаз.
Как это всё же страшно — увидеть край...
Быстро темнеет в этот вечерний час.
На тебе денег, brother.
Играй. Играй.

PAST PERFECT

До чего ж хорошо! Я — иголка в стогу.
В школу я не пошёл. В школу я не могу.
В суматохе родня, носят пить мне и есть...
Мне везёт: у меня тридцать восемь и шесть.
Растревожена мать. В горле ёж. Я горю.
У соседей слышать, сколько лет Октябрю,
там про вести с полей, трактора и корма...

А в постели моей пухлый томик Дюма.
Затенённый плафон. И со мною в душе
де Брасье, де Пьерфон и хитрюга Планше...
Что мне банки, компресс?! Я молчу. Я не ем.
Госпожа де Шеврез. Ловелас Бекингэм.
Что мне вирус? — мой дух совершенно здоров.
Я застрял между двух параллельных миров.
Тесный дружеский строй, благородство и честь...
Как прекрасны порой тридцать восемь и шесть!
Одеяло да плед, аскорбинки в драже...
Десять лет, десять лет не вернутся уже.
Снега, снега по грудь намело на фасад...

Это было чуть-чуть
меньше жизни назад.

ОБЛАДИ-ОБЛАДА

Холода у нас опять, холода...
Этот вечер для хандры — в самый раз...
В магнитоле — «Облади-облада»,
а в бокале чёрной кровью — «Шираз».
И с зимою ты один на один,
и тебе не победить, знаешь сам...
Не до лампы ли тебе, Аладдин,
что поныне не открылся Сезам?
И не хочется ни дела, ни фраз,
и не хочется ни проз, ни поэт...
Проплывают облака стилем брасс
акваторией свинцовых небес.
Но уходят и беда, и вина,
разрываются цепочки оков
от причуд немолодого вина
и четвёрки ливерпульских сверчков.

Ничему ещё свой срок не пришёл,
и печали привечать не спеши,
если памяти чарующий шёлк
прилегает к основанью души.
Так что к холоду себя не готовь,
не разменивай себя на пустяк...
(Это, в общем-то, стихи про любовь,
даже если и не кажется так.)

ИЕРУСАЛИМСКИЙ НАБРОСОК

Из камня — ввысь, сквозь сны и времена
растёт страна, где рая с адом двери...
Коль нет войны — то всё равно война,
и мира нет, как жизни на Венере.

В смешенье рас здесь разберись сумей;
Коран сменяют Библия и Тора...
С улыбкой смотрит первородный Змей
на наливное яблоко раздора.

О, как слепящ здесь воздух поутру!
Спешат куда-то Фатима и Сарра...
Вплетён в ближневосточную жару
пьянящий ор восточного базара.

Я здесь никто: пришелец и плебей,
мне говорить и не о чем, и не с кем.
Зовёт велеречивый воробей
своих друзей на древнеарамейском.

А время мчится: то вперёд, то вбок,
но всех живущих тут клеймит незримо...

Своим дыханьем троеликий Бог
туманит стены Иерусалима.

MODUS OPERANDI

Перелопатив весь рунет, загнав такси и три трамвая,
я понял: смысла в жизни нет. Есть только жизнь как таковая.
Она сплелась в цепочку дней, ни разу не прося антракта,
и нам давать оценки ей — по сути, несуразно как-то.

Мы не познаём жизни суть, уйдя однажды днём весенним,
но всё равно в кого-нибудь мы наши души переселим.
Заката розовый подбой, последние объятья стужи...
Но не грусти: без нас с тобой весь мир подлунный был бы хуже.

Житейских истин угольки нам озаряют путь недлинный,
даря венозный блеск реки на белом бархате равнины,
туман, арктические льды, Париж, и Питер, и Памплону,
и ритмичный свет звезды, летящей вниз по небосклону.

Сиди, травинку теребя, философичный, словно Ганди,
не выбирая для себя тревожный *modus operandi*;
воздавший должное вину среди тихо шелестящих клёнов,
люби одну, всего одну, одну из сотен миллионов.

Не испещрай судьбы листы смятенным перечнем вопросов,
я не философ, да и ты, мой друг, ни разу не философ,
давай всё так и сохраним — закатный луч и свет на лицах, —
пока едва заметный дым из трубки времени струится

Галина Пичура

Родилась и выросла в Ленинграде. С 1991 года живёт в США (Нью-Джерси). По российскому образованию — библиограф и экскурсовод, в США — программист. Пишет прозу, стихи и песенные тексты.

Её стихи были опубликованы в журнале «Листья» (США, Калифорния, 2006), в «Нашем альманахе» (Нью-Йорк, 2006), в сборниках «Общая тетрадь» (Москва, 2007), «Неразведённые мосты» (Санкт-Петербург, 2007), «Нам не дано предугадать» (Нью-Йорк, 2007 и 2008) и в журнале «Юность» (Москва, октябрь 2011). В 2006 году вышел в свет её объёмный поэтический сборник «Пространство боли» (издательство «Сударыня», Санкт-Петербург). Член Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

Публикации прозы в русскоязычной периодике многих стран.

МАНЕЧКА И БОРЯ

Родители любили друг друга. Мы с братом всегда это знали. В детстве нам казалось, что наша мама — настоящая королева, потому что папа относился к ней с абсолютным обожанием. Если она вдруг прилегла днём на часик, чтобы отдохнуть, папа требовал полной тишины от нас, детей, и не дай бог, если мы, забывшись, начинали галдеть. Когда мы протягивали руки к вазочке с фруктами, он нередко одёргивал нас со словами: «Последняя груша — маме! Я завтра куплю ещё, и всем хватит».

Из тысячи мелочей, порой непередаваемых словами, была соткана атмосфера нежности и любви к маме, которая от папы распространялась волнами по всем граням нашей жизни.

Мамина любовь к отцу проявлялась иначе, но была тоже явственной и неоспоримой. Как и положено королеве, мама держалась независимо, но всегда помнила, какие блюда предпочитает её муж, о чём не стоит ему рассказывать, чтобы не огорчить, чем можно его порадовать, от чего оградить, но главное — что ему нужно в жизни, причём, как казалось нам с братом, маме это было известно гораздо лучше, чем самому отцу. Но он настолько доверял своей сероглазой, нежной и умной супруге и так сильно любил её, что вполне комфортно чувствовал себя в роли ведомого, хотя, скорее всего, он вряд ли так определял свою роль сам. И в принципе, все

эти деления на ведущих и ведомых — удел психологов, если что-то у кого-то не ладится. А когда в отношениях есть главное — уважение, преданность и нежность, — копание в ролях и прочих «винтиках», составляющих людское счастье, всегда казалось мне мелким и нелепым занятием.

* * *

... У отца уже начались боли, и мама колола его сильнодействующими лекарствами, называя их витаминами.

Папа знал, что ему оставалось жить совсем недолго. И хотя никто ему этого не говорил, а сам он щадил нас и избегал прямых вопросов, он, конечно, всё понимал. Врачи выдали маме две справки: одну настоящую, вторую — с невинным диагнозом, но обе выглядели достоверно и впечатляли печатями. Так поступали в России 70-х. Возможно, именно в этом проявлялась высшая гуманность к человеку, хотя многие не без успеха до сих пор сражаются за то, чтобы страшная правда о скором уходе из жизни была гарантирована каждому.

Однажды папа позвал меня, и я внутренне насторожилась: а вдруг он спросит о своём диагнозе? Но он стал вспоминать молодость, первую встречу с моей мамой, прогулки по вечерней Москве, недолгий роман, а потом — более чем скромную свадьбу с горячей дымящейся картошкой в деревянном гомельском доме, в семье маминых родителей. Почти в каждом предложении звучало: «Ни о чём не жалею», «Если бы начал жить снова, я бы поступил так же».

Мне стоило огромного труда притвориться, будто я не понимаю: родной мне человек подводит итоги своей жизни.

— Встреча с твоей мамой — это самое лучшее, что со мной случилось в жизни, — произнёс он и закрыл глаза. Я встала, чтобы выйти из комнаты, и тут... Он встрепенулся, приподнялся на подушке и бросил на меня тот самый обнажённый взгляд-вопрос, содержащий последнюю надежду на возможную ошибку о смертельном приговоре судьбы.

Даже сейчас, через много лет, я помню этот взгляд. Отчаяние слилось с надеждой! Собрала все силы, я чмокнула отца в щёку, улыбнулась как можно беззаботней и, выходя из комнаты, прикрыла за собой дверь.

Прихватив с вешалки куртку, я выскочила на улицу и дала волю своим чувствам. Через несколько минут мама догнала меня:

— Он опять делился воспоминаниями? Почему-то и мне сегодня хочется говорить о юности... Знаешь, я ведь сначала не любила твоего отца. Всё это пришло потом, позже. Зато крепко и навсегда. Это неправда, что настоящая любовь обязана вспыхивать мгновенно. Вспышка — это не любовь, а страсть. Но она же и гаснет безвозвратно. А с любовью всё иначе. Она бывает острой и хронической, почти как болезнь. Но в юности это мало кто понимает.

После войны семья моих родителей вернулась из эвакуации в Гомель. Мужчин поубивало! Выжившие в основном — калеки, без рук, без ног. В нашей семье — целых три невесты: я и две младшие сестрёнки — Рая и Соня. Твой дед Ошер, высокий голубоглазый блондин, вернулся с войны невредимым и сокрушался, обращаясь к своей жене: «Где ж мы найдём

троих женихов для наших красавиц, Естер?»). Хрупкая кареглазая бабушка, с чёрными, как смола, волосами на прямой пробор, тихо вздыхала в ответ своё вечное: «Вей'з мир!»

Война закончилась, и наступила долгожданная пора любви. Мы с сёстрами ходили по очереди на танцы: по возвращении из эвакуации у нас на троих было одно приличное платье. Под звуки «Рио-Риты» и «Брызгов шампанского» я влюбилась в гомельчанина Яшу, а он — в меня. Высокий красивый парень, непьющий, весьма красноречивый... В общем, завидный жених. Роман стремительно развивался, дело шло к свадьбе, как совершенно неожиданно поочередно произошли два значимых события: сначала пропал Ошер — мой папа. А потом — Яша. Отец, правда, быстро «нашёл-ся»: его арестовали в электричке, по дороге в Речицу, куда он отправился по своим скорняжным делам. Он мирно беседовал с бывшим одноклассником — случайная встреча. Тот куда-то ехал с чемоданом. А при патрулировании вагона (то ли рутинная проверка, то ли намеренная) выяснилось, что в чемодане полно спекулятивного товара. Папа «ни сном ни духом», но забрали обоих, тем более, что одноклассничек оказался редкой сволочьей и отрёкся от чемодана в пользу отца. Разбираться не стали.

Папа получил статью за спекуляцию, и дали ему аж 10 лет. Твоя бабушка Эстер рыдала каждую ночь, а днём хлопотала у плиты, чтобы накормить нас, своих девочек. Мои сёстры тоже плакали, но помочь ничем не могли.

Молодость брала своё: власть мирного неба и «Рио-Риты», обещавшей близкую любовь, опьянила, и мои сёстры бегали на танцы, виновато обнимая маму перед уходом. А я, самая старшая, утратила интерес к жизни: отец в тюрьме, жених исчез без объяснений. То ли бросил меня из-за случившегося с моим отцом, то ли завёл другую.

Разыскивать жениха — дело унижительное. Гомельские кумушки злобно улыбались мне в лицо: брошенная! Не выдержав неизвестности, я пришла за объяснениями к сестре Якова. Она долго избегала прямого ответа и твердила, что Яша по-прежнему любит меня и вот-вот вернётся из какой-то командировки. Я чувствовала подвох, молчала, но наконец решилась на такие слова: «Знаешь, в чистых отношениях не должно быть таких исчезновений. Раз от меня необходимо скрыть правду — значит, правда меня бы не устроила. Я больше не считаю Яшу своим женихом. По крайней мере, он мог бы меня лично предупредить, что уедет».

Тогда моя собеседница нарушила запрет брата и раскрыла его тайну: «На фронте случился у моего Яшки романчик с одной медсестрой. С кем не бывает! Но эти отношения ничего не значили для него. А барышня стала шантажировать его беременностью. Когда поняла, что не сработало, выкрала документы и поставила штамп о браке без его согласия (с помощью влиятельной подруги). Яша как раз и поехал в те места — избавиться от этого штампика, чтобы жениться на тебе, на любимой Манечке. А ребёнка там нет и в помине. Яшку заполучить хотела медсестричка хитрая — вот и вся её “беременность”. Хотя кто её знает: может, и аборт сделала».

Этот поступок действительно всерьёз разрушил моё доверие к Якову. Значит, он способен скрывать от меня и куда большее! И, возможно, он разрушил жизнь своей военной подруге, сначала приручив её, а потом легко

переступив через её чувства. Конечно, она не имела права на эту выходку с паспортом, но, видимо, он её обнадёжил, иначе бы она не посмела... Тут же вспомнились Яшкины похотливые взгляды на моих подруг, чему я до этого придумывала оправдания в виде собственной мнительности. Я горько плакала.

Однако события, связанные с твоим дедом, требовали каких-то действий и не дали мне окончательно погрузиться в женские переживания. Его посадили по недоразумению на целых десять лет! У мамы прыгало давление, да и сама я, едва представляя отца за решёткой, не могла ни есть, ни спать. Однажды утром я заявила, что поеду в Москву — искать справедливости.

— Как искать? Где ты остановишься, доченька? А деньги?

Узнав о моём намерении, соседи принесли немного денег и какой-то московский адрес:

— Как приедешь в столицу — сразу к ним. Люди хорошие, примут, если скажешь, что мы послали. И письмо от нас возьми с собой.

Так в столице появилась девушка из провинциального Гомеля, решившаяся на невозможное — на поиски справедливости в сталинской России.

Меня действительно хорошо приняли чужие добрые люди, сын которых, Борис, недавно демобилизовался из армии. Он вернулся с войны целым и невредимым и отнёсся к моей ситуации очень бережно: лишнего не спрашивал, предлагал любую помощь, а вечерами показывал Москву.

Я попросила его найти в столице самого сильного адвоката — такого, который вряд ли мог бы проиграть даже обречённое на провал дело. И хоть попасть на приём, а, главное, оплатить такую знаменитость, — это проблема, я настаивала и однажды оказалась в кабинете у знаменитости по фамилии Брыль.

«Денег у меня нет, но мой папа, потомственный скорняк, — лучший специалист по мехам в нашем городе. И, если он окажется на свободе, то быстро заработает и сможет оплатить ваш труд», — завершила я свой рассказ, едва справляясь с волнением.

То ли моя наивность тронула адвоката, то ли преданность дочери отцу, но он взялся помочь. Звучит, как вымысел, никто не верит, но это — реальность и чистая правда: ему удалось добиться пересмотра дела в Верховном суде и доказать невиновность Ошера Цалкина.

...В ночь суда твоей бабушке Эстер снился сон: белые пышные булки росли на дрожжах, стремительно поднимаясь в духовке и покрываясь аппетитной румяной корочкой...

«Киндер майне! Этот сон — к добрым вестям».

Утром пришло письмо об освобождении отца семейства. А вскоре вернулся и он сам.

... Я провела в Москве около месяца. Было трудно не заметить, что Борис влюбился в меня всерьёз. Этот высокий спортивный парень с волевым лицом был мне приятен и намного выигрывал по своим моральным качествам по сравнению с Яшей, да и внешне ему не уступал, но я всё ещё думала о Якове.

Борис помог мне вытащить из тюрьмы отца! Да и вообще, от него веяло порядочностью и надёжностью, но Яков успел меня ранить. А рана всегда более значима для рождения пылких чувств, чем добрые поступки! Увы!

Но меня спасли голова, гордость и сила воли: я глубоко сознавала, что способность предать свою девушку останется в Якове навсегда и однажды коснётся меня. И я начала борьбу со своими чувствами.

На вокзале мы с Борей обменялись адресами и пообещали регулярно писать друг другу. Я долго смотрела в окно, а потом заснула по стук колёс...

В Гомеле на перроне меня встретили сёстры и мама. И вдруг я увидела Бориса, стоявшего чуть поодаль с цветами. Он подошёл, взял из моих рук чемодан и виновато произнёс: «Я прилетел самолётом — вдруг понял, что могу потерять тебя. Переписка — дело ненадёжное».

Через две недели мы расписались и отметили это событие скромным семейным обедом.

Я всё ещё была невинной девушкой: не знала, что именно должно происходить в первую брачную ночь, и, когда мой муж попытался овладеть мною, стала кричать так, словно на меня напал маньяк. Наверное, я разбудила весь Гомель в ту ночь!

На нервной почве папа месяц пытался прийти в себя и уже ни на что не претендовал в постели. Но за это время меня просветили подруги, дружно возмущаясь стыдливостью моей матери, не рассказавшей мне вовремя, что к чему.

И тогда мне стало обидно, что муж теперь просто спит, даже не прикасаясь ко мне, молодой жене. И это — медовый месяц! Я потребовала принести мне справку от врача о том, что мой муж в сексуальном плане — полноценный мужчина.

Реакция врача была довольно своеобразной и стала чем-то вроде анекдота, который не раз пересказывал в кругу семьи твой папа: «Старый еврей-уролог, осмотрев меня, улыбнулся и сказал: “Ваша супруга сомневается: настоящий ли вы мужчина? Просит справку? Хорошо, я-таки напишу. Но скажите ей, как бы я, доктор, в свои семьдесят пять лет мечтал снова стать таким мужчиной, как вы сейчас! Пусть жена не пугает вас больше хотя бы ещё пару недель — и всё нормализуется».

А вскоре вернулся Яша с «чистым» паспортом, готовый жениться, и тут же узнал от соседей, что я вышла замуж. Он постучал в дверь нашего дома, вручил мне букет цветов, сухо поздравил и, пожелав счастья, ушёл. В тот миг мне хотелось броситься ему на шею, всё простить и остаться с ним навсегда. Но я, конечно, этого не сделала. Я осталась с Борисом и никогда об этом не пожалела.

Да, первое время это был компромисс: я позволяла ему любить себя. А потом... полюбила сама. Я помню тот день, когда вдруг поняла: люблю!

... Яша давно забылся, стёрся из памяти, как стираются яркие, но нестойкие краски ситца от стирки. А жизнь — это тоже своего рода стирка: отбеливаем реальность до уровня мечты, выбрасываем выцветшее, вручную стираем ценное.

Папе осталось совсем немного. Вместе с ним навсегда исчезнут и моя единственная настоящая любовь к мужчине, и невидимая корона с надписью «Моей любимой Манечке», подаренная мне твоим отцом в юности на всю жизнь.

Александр Немировский

Поэт, прозаик, программист, антрепренёр. Родился в Москве. С 1980 до 1986 года выпустил 7 сборников в тогдашнем самиздате. С 1990 года живёт в Калифорнии. Регулярно печатается в различных литературных альманахах и изданиях в США и в Финляндии. Автор четырёх книг стихов: «Без Читателя» (Москва, 1996), «Уравнение разлома» (2009), «Система Отчёта» (2012). «На втором круге» (2014). Член Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России, зарубежное отделение. Автор считает себя русским калифорнийским поэтом (вычесть Калифорнию из его творчества сложно).

ШВЕЙЦАРСКАЯ ОТКРЫТКА

Циферблаты озёр,
как текущее время Дали.
Секундная стрелка соборного шпиля под вечностью гор.
Корабли.
Их снастей перебор
у причала
переходит в тумана простор,
разрезаемый замком, где плечами
две башни
и над левой вдали —
«Маттерхорн»
сквозь альпийские кряжи.

Разговор
на немецком прохожих спотыкается в русский.
Туристы с востока на швейцарском курорте.
Как будто опять девятнадцатый век.
Только блузка
по моде. Открытые ножки, и на отвороте
сапожек чуть стёрто.
Да солнце замедлило бег.

Водопады из рек
сходят в озеро возле отеля.
Здание в стиле прошедшей эпохи.
Бухта. Плёс.
Ледники набегают волной по прозрачной воде.
Силуэт Вильгельм Телля —
памятник у новостройки.
Белый лебедь скользит и балетною пачкою хвост.
Па-де-де.

И, конечно, симфония просится
в нотную запись. Подыграть этой птице-царевне
мелодию снега и тему крыла.
В вышине гнутся горы колосьями.
Дует время сквозь щербатые гребни.
А про всё остальное история соврала.

22.01.17

ОТРАЖЕНИЕ ПИСЬМА

В эпоху электронной почты
странно чернильной ручкой прожимать бумагу.
Мысли путаются за почерк.
Слово не заменишь без того, чтобы не зачеркнуть.
Я приветствую тебя из тёплой калифорнийской ночи,
прекратив работу, отвинтив заветную флягу
скотча
и разбирая прошлое — что там к чему.

Отказы памяти ещё не переходят в бессилье тела,
но время — это количество изменений,
и их не счесть.

Смутно представляя черты лица,
я чётко помню: ты часто ела
на завтрак яйца,
почему-то разбивая их с тупого конца.
Я же, когда приходилось, заходил с острого,
предпочитая разрубать ситуацию,
нежели её решать.

Потом мы мирились. То есть просто
я уступал, чтобы снова начать дышать.

Мы громыхали гитарой, запивая звук «джином с тоником».

В томике
любимых стихов залапывали страницы,
цитируя без повода или предлога,
когда всё остальное вызывало зевоту.

А теперь разве что стальная рыба «боинга»
прошумит над крышей, а так в основном птицы,
берущие высокую чистую ноту
по утрам, пока ещё не случилось ничего плохого.

Нас давно разнесло на диаметр шарика.
Шайка
распалась. Ты выбрала терпеть ревматизм севера.
Я же предпочёл цвета юга, жару и зелень.
Мы остались в слайдах на стареньком
проекторе в полинявших красках, со сбитым фокусом.

В канители
лет операционную систему сервера,
общую для двоих, найти — как остановить движение —
невозможно. Мы были слишком близки.
Ты обнимаешь незнакомых друзей,
я для поднятия тонуса
читаю, хожу в музей
и употребляю виски.
Но забывается лишь таблица умножения.

Мне проще писать, чем бояться разочарования встречи.
Непроверенный номер в моём мобильнике останется ненажатым.
Время глушит и притупляет. Ничуть не лечит.
А жаль,
легче бы не испытывать ненависть и обожание.

27.06.16

ХАЛФ МУН БЭЙ БЛЮЗ

А в воскресенье мы поедem на океан.
Простыня штиля
Заблестит, отражая свет,
И заставит надеть тёмные очки.
Караван
Пеликанов, вздымающих крылья,
Протянется пунктиром,
Подчёркивая заходящее солнце.
А один пеликан —
Задира, —
Вдруг сорвётся
Вниз, задевая за клочки
Пены, нырнёт за рыбой.

Птицы уйдут за рифы.
Пучки
Света, бьющие через щели скал,
Будут смешить твои волосы
Либо,
Пронизывая сарафан,
Просто
Сбивать меня с дыхания,

Перемещая в раннее
Утро из другого мира,
Где живёт круглолицый очкарик —
Улыбка, косички до плеч,
Коленки в царапинах, загорелые
ноги,
Где квартирой —
Пляж. За окном расторопная речь
Моря. В языках волн шарики
Гальки.
И вся жизнь на пороге.

При переносе с кальки
На полотно
Копии всё равно
Искажаются. Величина времени —
Это количество отличий,
Которое найдётся
На всём, что уже дано.
Прерывистый гудок маяка,
Птичий
Крик над заливом в обрамлении
Гор, одетых в низкие облака,
Заслоняющая от солнца,
Приподнятая твоя рука.

18.03.15

НА СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

П. Тайберу

Засохли краски.
Вывезли холсты.
В передней толпы.
У сказки
Наступил конец. Листы
Перевернулись. Том захлопнут.
Перемолчать. Слова сейчас пусты.

Наступит день. Рванутся чайки клином
За океаны. И пойдёт молва.
Пожать бы руку. Встретиться в гостиной.
И, наплевав
На запрещения врачей,
Кутить. Опущены с повинной
Глаза. Мир продолжается. Теперь уже ничей.
27.05.17

ОТКРЫТКА С КИ-ВЕСТА

Черепаша ползёт по песку в направлении корма.
Мент штрафует водителя за высокую скорость —
Лицо истекает потом, безупречная униформа
Скрывает толстое тело, как протез прикрывает полость.
Жара, отражаясь от солёной воды, мешает мысли.
Надежда лишь на кондиционер в питьевом баре,
Где рубашка, наконец отлипнув от тела, повиснет,
Освобождая подмышки от участия в перегаре.

Домик великого писателя в цветных шляпах —
Кишит туристское развлечение.
Кошки, переступая на шестипалых лапах,
Клянчат бутерброд, печенье
Или просто ласку.
История, загасканная,
В коммерческих целях обрастает сюжетной прутью,
Когда экскурсовод, декламируя неизвестные факты,
Излагает её, как сказку.
Как корабль во фрахты,
Музей сдаётся под свадьбы или бизнес-события.

Отпуск, протекающий на Ки-Весте, пропах сангрией,
Катанием на водных лыжах и тому подобным.
Так и хочется приказать мгновению: замри и
Остановись.
Но приходит электронная почта. С утробным
Звуком айфон выплёскивает на пляж
Реальность быта.
Гамак у моря больше не вписывается в пейзаж,
Составленный из хижины рыбака и его корыта.
Так что пора отправляться и залатывать сеть —
Какая проза!
И только светило сумеет по-королевски сесть,
Остужая закатом воздух.

29.04.15

Михаил Садовский

Михаил Садовский — член Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей России. Долгие годы был известен как автор многочисленных произведений для детей — книг стихов и прозы, пьес, либретто мюзиклов и опер, хоров и песен на его стихи.

После падения советской власти стало возможно опубликовать его произведения для взрослого читателя — романы, повести, книги стихов и эссе (размышлизмов).

В настоящее время издаётся «Музыкальная коллекция на стихи поэта М. Садовского» в издательстве МРІ (Челябинск).

Активно публикуется в периодике разных стран мира.

ВИДАТЬ, НЕ НАПРАСНО...

Ей нравился их барак, стоящий на краю оврага: за окном было красиво, особенно зимой, когда склоны становились серебряными и позёмка, срываясь с верхних кромок, кружилась и летела, будто это сани Снежной Королевы. А ещё ей нравилось петь в такие морозные дни, когда школа и детский сад не работали из-за сильного холода, а дома всё надоедало, и только петь она могла часами. Сначала знакомые песни, которые слышала из приёмника, потом всякие, которые пели в праздники за столом и во дворе, а когда и эти кончались, она сама придумывала какие-то мелодии, пела их громко, во всё горло, и кружилась по комнате.

Но особенно ей нравилось «выступать» по вечерам, когда соседи возвращались с работы, потому что появлялись слушатели, которые говорили ей потом при встрече в длинном коридоре или во дворе:

— Танька, вырастешь — певицей будешь!

— Ага, — кивала она головой, — буду...

И в детском саду воспитательница повторяла: «Музыке тебя учить надо, Орлова!»

В музыкальную школу её привели не вовремя — среди года, — но учительница согласилась прослушать: «Песню спеть можешь?» И Таня, уверенная в своих способностях, так загорланила «Расцветали яблони и груши...», что учительница улыбнулась: «Ну молодец! А теперь я постучу, а ты повтори, и постарайся». Таня слушала внимательно, чуть наклонив голову набок: «А это опять “Катюша” выходит...» На этом экзамен и закончился.

Учительница положила Танину руку к себе на ладонь, растопырила ей пальчики, помяла, похлопала легонько сверху другой рукой и сказала маме: «Посмотрите моё расписание и приводите девочку в любой день, в любое время, — и, видя, что мама мнётся и не решается спросить что-то, опередила её: — Приводите, приводите... не думайте об оплате, мы из этих перестроек никогда не выберемся... Приводите обязательно — я всё равно с ней заниматься буду».

Через несколько месяцев занятий Елизавета Михайловна попросила Танину маму зайти к ней и при встрече сказала: «В Москву надо ехать». И, увидев испуганные глаза женщины, повторила: «В Москву... учить как следует, в концерты водить, в музеи, хороших учеников в классе слушать... Да не беспокойтесь, ей семь уже — большая, а то поздно будет! У меня отпуск как раз, когда там приёмные, — вот и поедем вместе...»

Теперь Таня два раза в неделю приходила в музыкальную школу, а по средам и воскресеньям — домой к учительнице.

Дверь в квартиру была приоткрыта (Елизавета Михайловна никогда её не запирала), и оттуда была слышна мелодия, которую Таня сразу узнала: всего несколько нот, которые уже казались ей родными. Она представила, как учила Елизавета Михайловна, картинку: мокрый луг у бабушки в деревне, туман клоками перепрыгивает узенькую речку и зацепляется там за кусты, а солнце бьёт прямо в глаза! Зажмуришься — и так сладко становится... Попевку — эту фразу, за которой тайна, — Таня любила! Эти такие знакомые ноты ей хотелось, но ещё не приходилось играть, и попробовать было негде, потому что дома пианино не было... Она переступила с ноги на ногу — противно скрипнула паркетина в тамбуре между двумя дверьми, музыка смолкла, и ей пришлось теперь медленно просунуть голову внутрь комнаты. Глаза упёрлись в чёрный выгнутый бок рояля, потом выше из-за нот на подставке показались седые волосы, один глаз, половина лица, и тихий голос позвал: «Заходи!».

— Ничего! — ладонью остановила сидящая за роялем учительница. — Не извиняйся. Холодно на дворе? — и зябко поёжилась. — Тогда давай сначала попьём чаю...

— Я, наверное, слишком рано пришла... — залепетала Таня.

— Ничего-ничего, не рано, даже хорошо... совсем не рано... — Учительница обошла рояль с левой стороны, приблизилась к ржавой печке-буржуйке на растопыренных ножках в углу комнаты, взяла с неё когда-то белый чайник с обитой по бокам эмалью, чёрным, как у собаки, носиком, разболтанной ручкой и отправилась на кухню. — Пойдём! Там теплее! У меня сегодня какой-то странный день... Знаешь, я смотрела телевизор... почему включила днём — сама не знаю... Я его редко включаю. А там всё «Победа», «Победа», «Юбилей Победы», «Пятьдесят лет Победы!» И тут вдруг про Ленинград стали рассказывать, про блокаду. Ты про блокаду слышала, знаешь? Нет? Ну, я тебе потом расскажу, обязательно расскажу. Вот увидела такие старые, серые кадры, и меня вроде толкнуло что-то, я уселась и смотреть стала... Документальные съёмки старые... смотрю не с начала, посередине передачи, не знаю, о чём раньше говорили, и всё разные люди, которые тогда маленькими были и пережили войну и блокаду,

рассказывали... И вот одна женщина начала вспоминать о своей учительнице — соседке, она была одинокая, преподавала музыку до войны в музыкальном училище... а её, девочку-соседку, всё время к себе зазывала и даже иногда ей крошечный кусочек хлеба давала. Знаешь, так языком прижмёшь его к нёбу и сосёшь, как леденец, — он тогда размокает, и очень вкусно становится... А эта соседка-учительница зазывала её, чтобы она не оставалась одна, пока мама уходила на работу... чтобы не заснула навсегда одна в ледяной комнате... и каждый раз с ней музыкой занималась! Представляешь! Блокада... ужас кругом... немцы по городу стреляют, по людям... голод, холод. А она каждый день играла Моцарта, очень Моцарта любила... Уроки ей давала, этой девочке, на рояле, и о композиторах рассказывала, и сольфеджио учила... А однажды в обычное время она не постучала к ней в дверь... не позвала (они на одной лестничной площадке жили), и девочка забеспокоилась, сама пошла к своей учительнице — дверь, как всегда, не заперта, тихо, и видит, что учительница за роялем сидит, но не двигается... застыла так: руки на клавиатуре и не двигаются, а слева от пиюпитра — совсем небольшой бюст Моцарта, который обычно на крышке стоял, и рядом с ним — крошечный кубик хлеба...

Когда учительницу похоронили, эта девочка пошла к ней в комнату и решила на память взять этот маленький бюстик... Она села на стульчик, открыла крышку инструмента, а там, слева от клавиатуры, — крошечный бумажный пакетик, и в нём точно такие же кубики засохшего хлеба, как около Моцарта... И она поняла, что учительница композитора тоже подкармливала. Она его так любила, что он для неё живым был, значит. И она боялась, чтобы он не умер от голода, а сама вот умерла... Она свой ломтик хлеба, который на день выдавали, с Моцартом делила... у неё от голода помутнение рассудка наступило, и она его спасала, своего любимого, а сама...

— Елизавета Михайловна!.. — Таня увидела слёзы у неё на глазах.

— Ничего, ничего... — Учительница чуть отвернулась. — Я нормально, ничего, — она пригладила пальцами волосы с двух сторон головы... — Ты понимаешь... о таком... Я так волновалась, когда смотрела и слышала это! Такое не выдумаешь, не придумаешь — женщина же про себя рассказывала, не с чужих слов... И я сразу войну вспомнила... только нет, я никому об этом не говорила... Почему буржуйка у меня, старые чайники железные, медные, я никогда никому не говорила...

Просто когда эта женщина рассказывала, я замерла вся, обомлела. Со мной тоже похожая история случилась, не такая страшная только...

— С вами? — удивилась Таня.

— Да знаешь, на самом деле, почему я эту ржавую печку-буржуйку в комнате держу? Не на всякий случай, вовсе нет!.. Я же во время войны была в эвакуации... мне, как той женщине, что рассказывала, примерно столько же было, — как тебе сейчас. В доме, где нас, эвакуированных, разместили, тоже учительница музыки жила — тамошняя, местная. Она до войны в музыкальной школе фортепиано преподавала, а когда мы приехали, школа уже не работала, и ученики к ней на дом заниматься ходили. Так вот, она с них «плату» брала знаешь какую?

— Хлеб?! — подсказала Таня...

— Ну что ты, девочка! Нет, нет. Каждый, приходя на урок, должен был принести что-нибудь для печурки-буржуйки, потому что у неё в комнате очень холодно было, и пальцы у ребят застывали, не слушались! Так она просила каждого, что сумеет, принести: полешко, или ветки где-то найдёт, или торфа кусочек, а может, кизяк. Это моя первая учительница музыки была... с неё всё для меня в музыке началось, она меня благословила и наставила... И печка эта не её, не та, конечно... Это уж потом я сама её нашла случайно... Ребята металлолом собирали, видно, — куча ржавого железа огромная такая лежала на вывоз, машину, наверное, ждала... А я в ней эту печку углядела, вытащила и домой принесла... Представляешь, как я сегодня услышала эту историю... — Она долго молчала, слегка поворачивая голову из стороны в сторону. — И дрова у меня в ней тоже есть... никто ж в неё никогда не заглядывал... Газета старая внизу, а на ней щепки и поверх несколько полешек... Хоть сегодня трубу наставь, выведи в форточку и... не дай бог, чтоб ещё раз такое случилось... — она опять замолчала и будто рассматривала что-то на дне чашки с чаем. — Вот хорошо, что ты пораньше пришла... по горячим следам я тебе рассказала, а потом, может, и не призналась бы... Вы ж, молодые, как? Подумаете: «Чудачка!» — и все дела... Хорошо, что ты пришла... а мне после этого с Рахманиновым поговорить захотелось... и ты как раз заглянула... Ты эту мелодию наверняка знаешь, да?

— Вы же её часто играете...

— Правда. Если бы я музыку сочиняла, наверное, бы обязательно рассказала обо всём этом... а может, и нет... Зачем сочинять, когда есть уже такая музыка... Ты слышала, слышала? Это самый замечательный, мой любимый Второй концерт для фортепиано. Вот вырастешь — не забудь, что я тебе рассказала... Знаю: если постарайся — дорастёшь, чтоб играть его, но не в этом дело, просто дышать легче, когда знаешь, что он есть и внутри тебя звучит... Вот, а та учительница, что в Ленинграде, она Моцарта хранила...

Знаешь, когда такое пережить придётся, по-настоящему понимаешь, что такое музыка! Это самое главное, Танечка! Наверное, Дуров бы и обезьянку выучил на пианино клавиши нажимать, только она бы ноты играла, а надо музыку... которая дороже жизни, как Моцарт... понимаешь? Как я сегодня на эту передачу наткнулась. Зачем телевизор включила — понять не могу...

Но, видать, не напрасно.

15 февраля 2015 года

Юлия Резина

Родилась в Москве. Кандидат медицинских наук. В течение многих лет в арктических экспедициях изучала проблемы адаптации моряков ледокольного флота к экстремальным условиям Заполярья. В настоящее время живёт в США. Автор трёх поэтических сборников и книги повестей, лауреат нескольких поэтических фестивалей. Участник многих поэтических антологий. Публиковалась в альманахах «Под небом единым», «Истоки», «Sky without borders», в журнале «Слово-Word» и других периодических изданиях России, Англии, Испании.

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТЬЯ

Соне Юзефпольской-Цилосани

Ушёл Поэт. Большой, яркий, самобытный. Неотмирное существо, вдохновенная идеалистка, далеко опередившая своих читателей, вернулась в небесные пенаты. Чувство удивления до сей поры не покидает меня, когда я вспоминаю обстоятельства нашей встречи. Случилось так, что мой авторский экземпляр сборника «Поэзия женщин мира», где были опубликованы и Сонина, и моя подборки, по ошибке был выслан на её адрес. И я поехала из верхнего Манхэттена в Бруклин за этим сборником. Это был далеко не лучший период в моей жизни, исключавший всякое желание новых знакомств, тем более дружбы. Я знала адреса дорогих мне людей, на могилах некоторых из них росли незабудки... Мне хотелось тут же, на пороге получить книжку, вежливо поблагодарить и отправиться в обратный путь, но женщина с глазами огромной синевы повела меня внутрь квартиры, которую они с мужем только сняли. Она поведала, что пару месяцев как перебралась из Сиэтла в Нью-Йорк, и пока не имеет понятия, как обживать этот город. Вошёл Сани, и стало очевидным, что волна любви, недавно внезапно вспыхнувшая вопреки всем правилам и накрывшая этих двоих с головой, спалившая все мосты, вполне видима и осязаема. Я заторопилась домой, но Соня, передавая мне сборник, стала

много и щедро говорить о моих стихах. Написанные стихи — уже вне облака вдохновения: всегда чувство их несовершенства, неловкости... Она вдруг остановилась, очевидно, уловив моё желание сбежать, и сказала: «Юля, а ещё я в Интернете выяснила, что мы родились с вами в один день...». Это и стало моментом нашей встречи — мы наконец встретились глазами и сразу поняли, что нам обоим достоверно известно, что случайностей в этом мире не бывает... Появилось чувство, что время шарманкой закрутилось вспять. Мы совершенно по-русски стали ходить друг к другу в гости (не в рестораны!) — «дружить семьями». Я вспомнила, что умею готовить. Кормить эту пару было великим удовольствием, и, как детям, приписать на дорожку московские шоколадные батончики фабрики им. Бабаева. Нам нравилось находить совпадения во вкусах и предпочтениях в литературе и музыке, а иногда, до смешного, и в привычках, объясняя их звёздами. Вот что я написала, ошеломлённая их первым с Сани визитом:

Соне

Эта львиная тоска зверя циркового...
Стрелки, громко цокая, лошадыми по кругу.
Думалось — прошло, срослось, не хочу иного,
Если бы не соловей, древняя пичуга.
Если бы не май, не мой — кисти-аметисты —
Куст сирени, прошлый век, экая эклога!
Шлейф черешневый над ним, бабочек батисты...
Если бы не свет лица
звёздной гостью — близнеца
Из созвездия Тельца...
вместо эпилога...

16 мая 2014

У меня приличная коллекция прошловековых больших пластинок серии «Поэты читают свои стихи». Мы слушали «живые голоса» великих, обсуждали творчество современников, много шумно и всерьёз спорили о текущих проблемах, эмиграции, религии, а Сани был третейским судьёй... Ещё не вышел из бизнеса 21-й магазин*. Мы ходили туда практически на все встречи. А ещё были Карнеги Холл и невероятные встречи в Центральной библиотеке Бруклина и спектакли российских театров. Мы устраивали вполне российские квартирники, праздновали издание книг и наших дней рождения в крошечном садике у дверей Сониного с Саней дома, где хозяйева посадили сирень и цветы... Дарили подарки и стихи. Соню радовали перстни. Мы обе помнили великую любительницу перстней...

* Магазин Русской книги № 21 в течение многих лет был местом обсуждения произведений русскоязычных писателей и поэтов. В настоящее время вышел из бизнеса.

Соне

Не на палец, так на память —
Блик зеркальный, отраженье —
В камне вспыхнувшее пламя:
Сердцу — радость, в горле жженье.
Что ещё дарить поэту,
Завороженному ости
Звёздной колким долгим светом?
Аметистовые грозди,
Аметистовые друзья —
Зазеркальный след сирени,
Чтоб не умолкали музы
В дни смятений, в дни рождений.
Что ещё дарить поэту —
Слушателю струн небесных —
В мае, накануне лета?
Только перстни, только песни...

3 мая 2015

Вместе встречали Новый год... Имел место и «Трайон» — парк рядом с моим домом, его весеннее и осеннее роскошество... Мы устроили совместную презентацию наших сборников, чего бы никогда не сделала сама... А ещё было несколько дней совместного пребывания на даче у моря... Соня была легка на подъём, любила праздничную суету, сцену, волновалась перед и после выступлений, легко и заразительно смеялась. Она страстно любила классическую музыку. А ещё было очевидным, что любовь ведёт её по всем своим тайным земным и небесным тропам... И вместе с тем у меня всегда было чувство, что какой-то частью своей души она присутствует в совсем других эмпириях, выпадая из суеты быта. Очевидно, Всевышний оставляет на лицах, им поцелованных, свои печати... Представить, что она блестяще училась, защищала диссертацию (о творчестве Арсения Тарковского!) и преподавала в университете, было легко. До сей поры не представляю, как она подняла четверых детей в тяжелейших условиях эмиграции, выпавших на её долю. Позднее Соня напишет:

«Я видела так много горя — в нём много света...»

Эта духовная способность трансформировать самый тяжкий опыт в свет удивила врача, как я поняла, из группы психологической поддержки, спросившей её пару недель назад, уже измученную «агрессивной химиотерапией»: «Как поэт, что вы думаете об этом мире?» Она ответила: «Он — прекрасен!»... Мы постоянно общались во время её работы над редактурой последнего стихотворного сборника «СтранНствия» (одно название чего стоит!). Я писала предисловие к её книге. Глубокое погружение в поэтический мир Сони создаёт ощущение обрушения привычных границ обжитого пространства. Соня — сложный поэт, со своей философией, мировоззрением, напряжённым духовным опытом.

Со своим уникальным поэтическим — не женским почерком, не похожим ни на один другой. Сохраняю мнение, что её поэзия принадлежит будущему времени.

Так же ежедневно мы общались последние пару месяцев. Диагноз объявили безапелляционно, громом среди ясного неба, исключающего все надежды. У меня не хватило смелости посоветовать ей отказаться от химиотерапии... Ничего не изменилось в её отношении к себе, миру, окружающим. Приняла как судьбу, как глубоко верующий человек, как философ... Говорили открыто и много: много о жизни, много о смерти, много о любви. И много смеялись. До последней нашей беседы (накануне последнего её дня) она сохраняла эту способность легко переключаться и радоваться жизни. До последней минуты София оставалась влюблённой женщиной... Она не очень чётко оценивала тяжесть своего состояния. Когда отступали боли, она говорила о том, что бы она хотела ещё успеть... Дня за три до ухода она спросила: «Ну, в следующем-то году вы же приедете на наш день рождения (в этом году я не смогла этого сделать)?» Мне хватило мгновения на вдох, чтобы притормозить и не сказать свою главную за последнее время фразу в ответ на любые фантазии по поводу будущих планов: «Ну, до будущего ещё дожить надо»... Соня умерла на руках мужа. В полном сознании. В любви и благодарности... Последней её просьбой было принести книгу, чтобы отвлечься от боли... Сани принёс томик Пастернака...

«А дальше тишина...»...

София Юзефпольская- Цилосани

Доктор философских наук, поэт, переводчик, литературовед. Член СПБ ГО Союза писателей России. Жила в Ленинграде, училась на литературном факультете в институте им. А.И. Герцена. В 1989 году иммигрировала. С 1990 года жила в Сиэтле, США, где училась в аспирантуре и преподавала в Вашингтонском университете. В 2005 году защитила диссертацию об Арсении Тарковском. С 2013 года жила в Нью-Йорке, США. Автор сборника стихов «Голубой огонь» и книги об Арсении Тарковском.

КЛЕЗМЕР

*Явился Аврааму Бог.
Авраам возвёл очи свои и взглянул,
и вот, три мужа стоят против него...
Быт. 18*

К тебе! Вставай! (Мелодии местечка.)
Да, за тобой: стучатся в нашу дверь.
А ты лежишь, как взвод убитых без осечки
звездой нездешнею, и всё, что видишь, — печь...
Не аналоем твои кончатся молитвы,
не виноградною зелёною осой.
Струну сквозь сердце. В узел свиты все пожитки!
Разорваны. Вставай! Вставай — и пой!
Танцуй! Не верь, что я не твой, что Аллилуйя
для ангелов. Она милее палачу.
Из Нового и Ветхого — любую
возьми из капельницы каплю — скрипачу.
— Я Клезмер — гость, бездомный, тощий. Родом
из тех, освенцимских... Я тень, как скальпель, остр!
Познал я до глубин невежество природы,
и от кости моей я даровал достойным — кость.
Нет, я не фарс, не трагик с маскарада.
Меня не принц, а полумёртвый привечал.

Я щедро наливал всю сладость рая — аду,
 в придачу к скрипке — пусть лучится, как ничья.
 Лепечет с миром. И с войной.
 Сейчас — ни тот, ни эта,
 слепой звоночек бьётся в твой порог:
 — Я, Клезмер, стар. Я самый неприметный,
 сердечник, с палочкой, в трёх лицах. В общем — Бог.

КОРОЛЬ МАТИУШ I

Ирине Эфрон и Я. Корчаку

*На одного маленького ребёнка не хватило в мире любви.
 Марина Цветаева*

*У меня нет достоинства, у меня только 200 сирот.
 Януш Корчак*

Доктор, война уснула,
 Ира уснула, кукла,
 к синим губам раздутым
 пальчик прижала, укус
 выскоблил звёзды на досках —
 докторская гигиена.
 В этом сиротском доме
 чище б для дочки — стены.
 Чище бы там, Марина,
 где до последнего всхлипа
 в синем — не ждали смерти,
 в чести — не верили нимбам.
 Там, где летят дети
 с поезда под откосы,
 не лебедята — клином.
 Там — не живые кости.
 Просто поход на остров,
 птичий веселый щебет,
 ждёт здесь детей в гости
 не золотая лебедь,
 и не Орлята* — тосты
 за гениальное детство
 здесь не уместны,

* Судьба Наполеона II вдохновила Эдмона Ростана на драму «Орлёнок». Через это произведение поклонницей личности обоих Наполеонов — отца и сына — стала Марина Цветаева. Считается, что книга Януша Корчака «Король Матиуш I» навеяна судьбой Наполеона II.

5 августа 1942 года Корчак и его Дом сирот начали последний путь из варшавского гетто в газовые камеры Трешлипки. Над детским строем развевалось зелёное знамя короля Матиуша. Януш Корчак шёл впереди, держа за руки двух детей...

детям
верится просто в место,
где проживает мальчик,
брезговавший рыбьим жиром,
детский король-неудачник,
глупый... а Доктору — миром
всем предлагали волю,
волю — ты слышишь, Марина,
в снежном твоём Подмосковье,
в горьком твоём дыме?
<волю-побег-паспорт>
Слышишь отказ, где сказка
длилась до самого газа,
там,
где и ангелы в масках,
там,
где архангелам — сера,
там,
где от моря — корчит,
мечется сердце в перьях
не лебедей-квочек.
С ним бы наркоз — синька.
С ним — не до сфер. Кроток.
Там — не до звёзд. Треблинка.
С девочкой — Матиуш Корчак.

МАНДЕЛЬШТАМУ

Шум времени, безумья хаос.
О мой великий Серафим,
О мой еврейский Нострадамус,
Богами Греции любим.

Отравленный змеиным ядом...
Я рада, что в тридцать восьмом
Твоя могила — в сорок пятом
Что б делал ты? Ты б о другом?

Затих, в тех искрах — в василисках
печей, среди детских — башмаком?
Ты б замолчал? Сосал ириску?
В молчанье обходил Содом?

Ты б замолчал: Иерихонским
беззвучьем труб едва дыша.
Был топот орд, безумный, скотский...
Был Шум печей — Шоа, Шоа*.

КОНАРМИЯ

Визел Эли

Что умеет делать еврей?
Он умеет плакать,
говорить «ой»,
отвечать на вопрос вопросом,
посыпать голову пеплом
на все семь траурных дней
и проблемы с сыном иметь
в году високосном,

протирать мозги у столетий
кошерной тряпкой,
как алмазный Бабель — очки,
и от пыли — свет, чтоб лучились скрипки,
и накручивать пейсы. Маркс и Со.
кто этого делать не мог,
тараканами стали в «Замках»,
остальные — от тараканов же —
послужили долгожданной прививкой.

Чёрным углём отбелённые
кони,
смотри — на красном!
Цадики** Боренбойм,
Бабель и Кафка,
и Визель Эли...
Что умеют они?
Кричать и петь: это горький праздник!
(«Ночь»*** — от мира сокрыты их семидневные двери.)

* Шоа (Холокост, Катастрофа) — означает уничтожение огнём.

** Цадик — праведник в иудаизме и особенно в хасидизме.

*** «Ночь» Эли Визел — книга воспоминаний о Холокосте.

ЯД ВАШЕМ*

На горе Иерусалима есть туннель,
в нём музей с узкоколейкой смерти;
фотографии людей живых, их тел...
Яд Вашем культур моих — моё наследство.

И пройдя сквозь память в миллион
жизней и смертей тропой единой,
в каждой обрела себя, как Вопль
Глины по печам — Отцом и Сыном...

Как в пустынях неподвижен ход песков,
так во времени — Столп Скорби, Муки Стела...
Яд Вашем. Столь долог залп... и лязг замков...
с фото взгляд...
и плащ имён, едва прикрывший тело...

* «Память и Имя» — мемориальный комплекс истории Холокоста в Иерусалиме.

Елена Лапина-Балк

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила ЛИТМО (Ленинградский институт точной механики и оптики) факультет «Квантовой физики», одновременно — отделение журналистики ФОР. В настоящее время живёт в Хельсинки. Основатель и шеф-редактор литературного альманаха мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым».

Автор пяти поэтических сборников и сборника короткой прозы «Тропы судьбы» (2011). Участник литературных журналов, альманахов, коллективных сборников, газет — как российских, так и зарубежных. Член финского отделения международного ПЕН-клуба. Член Союза писателей СПб. Автор текстов песен, написанных петербургскими и финскими композиторами. Стихи переводились на английский, китайский, итальянский, финский и греческий языки.

САМИ С УСАМИ

Рассказ

Первый раз он её увидел в синагоге. Она стояла с женщинами наверху, на балконе, а он внизу, с мужчинами, как и положено. Засмотрелся — чуть кипа не упала. По телу озноб и в груди заштормило, море вспомнил, тоску по тихой гавани, байку про «противный ветер». А ведь хороша была сказочка, сколько раз её своим салагам рассказывал — так и верили же, одёжку со страху стягивали. Ведь лучшее средство избавиться от козней разгневанной бури — раздеться догола всем морякам. И тогда смущённая «ветренная дама» обязательно свернёт в сторону.

«Похоже, влюбился», — подумал Самуил. Подумаешь, пенсионер — что же, и влюбиться нельзя?! Ах, как она была хороша! Стройная, чёрные вьющиеся волосы по плечам, такая ухоженная, такая зовущая, взгляд — утонуть можно, не сопротивляясь...

Самуил глубоко вздохнул, закрыл глаза и попытался думать о жене, Эле. Он так всегда делал, когда приключалось это — штормящее «любовь нечаянно нагрянет».

Но ничего из дум о жене на сей раз не получилось — волшебной красоты брюнетка не дала жене никаких шансов. Так и стоял до конца службы обомлевший, с бушующей стихией внутри.

«Ну, уж дудки, не разденусь!» — улыбнулся про себя Самуил.

А когда все стали расходиться, всё искал её глазами, но незнакомка исчезла.

Домой приехал просветленно-притихшим. И прямо с порога:

— Эля, ты знаешь? Я...

Эля на него взглянула, договорить не дала, хмыкнула:

— Что, опять приехали, Сами, ну сколько можно? Опять какая-нибудь кассирша из «Стокманна» или чаровница из бутика сразила своей красотой? И чего ты туда таскаешься без гроша в кармане? И скажи: как можно — я про твою влюбчивость — не при деньгах, с еврейским лицом, но при желаниях? Господи, ну когда же наконец чёрт оставит в покое твои рёбра?!

— Эля, не забывай, мы в Финляндии, а не в России. Здесь еврейство — принадлежность к иудейской религии, и всё! И я очень доволен своим лицом! — И задумчиво: — Я её встретил в Синагоге! Она была так прекрасна! Я таких никогда не видел!

— Ну, Сами, таки это совсем другое дело: в синагогу приходят иногда приличные женщины — в них, конечно же, можно и влюбиться! А чтоб у тебя ей предложить, чего не можешь предложить мне. Ты, надеюсь, не забыл, что в субботу мы идём к Розе и Науму?

— Да-да, помню, — как-то рассеянно ответил Самуил и ринулся к компьютеру. Надо срочно отвлечься — его влюбчивость никогда до добра не доводила. — И права Эля: еврей без денег?! Вот только зря она не добавляет: «без больших денег»... Живём мы очень неплохо: у обоих пенсии, дочь не забывает подарочки вручать, социальная чудная квартирка, дом считай почти элитный, много бывших соотечественников. Нужно чего — ну, там молоток, соль, лук — звони в дверь, всегда помогут. Вот с финнами в этом вопросе сложнее — расспрашивать начнут: «Своего, что ли, нет?» или: «Так в магазин ещё успеете!» А дверь закроют, и слышишь: «Русский он и есть русский, хоть на масле его жарь...» — Какой я им русский?! Не-ет, всё-таки душевности финнам не хватает.

Будут большие деньги — вот тогда!

Пора заканчивать, действительно, повесть почти готова, несколько главок ещё и... Вот и деньги будут!

Ни дня без строчки! И включил компьютер.

Пока, правда, три главы, но ведь есть что вспомнить! Кому как не мне, старому морскому волку, рассказать правду о жизни морских скитальцев! Ну а перо у меня острое — не подведёт!

Здесь, в Финляндии, я пенсионер, а в России был стармехом! То-то и оно, жизнь сама перо в руку вставляет — пиши! Опыт огромный, а его, как говорится, не пропьёшь!!!

Заглянула Эля, пожелала спокойной ночи. Вот что значит, с умом жену выбирал! Золото, а не женщина!

На следующий день после обеда Самуил объявил Эле, что едет в издательство.

— Нет, пока ещё не выбрал какое — надо прицениться, где качественно и недорого печатают русскую современную прозу, какой гонорар заплачат, а то, может, и на премию выдвинут. Эля, ты же знаешь, я всё делаю основательно!

На метро он доехал до центра, а потом...

Самуил даже удивился — ноги сами привели к синагоге. Час простоял у входа, чего-то ожидая. Нет, понятно чего. Мечтал вновь увидеть очаровательную незнакомку, но признаться в этом боялся даже себе.

«Хм, действительно, кто же будет ходить в синагогу каждый день — пойду, пожалуй». Завернул за угол, оказался на улице Лапинлахдентие, но не прошёл и трёх шагов, как застыл у витрины-окна с надписью «Салон красоты “Клара”».

А там...

Он даже зажмурился. В салоне стояла ОНА!

Были в салоне и ещё какие-то женщины, а может, и мужчины, да какая разница, главное — там была ОНА!

Несколько минут стоял с открытым ртом — с ним часто такое случалось, когда, как говорится, нечаянные радости падали как снег на голову. За окном явно забеспокоились — все разом повернулись и уставились на Самуила.

Пришлось срочно закрыть рот и заинтересоваться рекламкой, написанной по-русски:

«Кто, как не вы сами, может позаботиться о вашем имидже! Приходите к нам — и мы поможем вам стать молодыми и привлекательными!!!»

«Вот чудеса! Чудак имиджем интересуется. Поздновато ему, конечно, но пусть себе — потенциальный клиент, плохо, что ли?!» — подумали обитатели салона и вроде успокоились — на него уже не смотрели.

Он же успокоиться никак не мог — сердце билось, и во рту пересохло, и от волнения правый глаз опять свои штуки выделять начал — подмигивать стал (конечно, без согласия хозяина).

Тайком он поглядывал на НЕЁ, но от этого только пуше в жар бросало. Наверно, это и есть сама Клара!

Сколько он так простоял, сказать трудно — очнулся, когда из салона вышла женщина и по-русски спросила:

— Мужчина, вам плохо?

Самуил облизал губы и подмигнул.

— Мне? Нет, что вы, мне очень хорошо! — И опять подмигнул.

— Вы с полчаса уже здесь стоите, мигаете!

— Так я... это... издательство ищу.

Повернулся и быстрым шагом пошёл, потом потрусил к метро.

По дороге домой думал... да понятно, о чём думал, вернее — мечтал:

«Вхожу в салон, представляюсь... Писателем, не пенсионером же или дедом! А мог бы и дедом — дедом на флоте называют старшего механика, человека важного; так не поймёт — поди, не знает наших флотских должностей! ОНА, естественно, просит у меня автограф, просит что-нибудь почитать...»

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

Как-то быстро у своего дома оказался — думы были такими сладкими, что ноги сами несли.

Чёрт, лифт не работает! Для Финляндии это что-то небывалое! Здесь у всех всё работает. Придётся на шестой пешком подниматься. А возраст — это не шутка, это тяжеловатенько!

Рывком открыл дверь, скинул пальто, залихватски бросил кепку на вешалку, в секунду стянул ботинки вместе с галошами и зашаркал тапочками на кухню.

— Эх, жизнь только начинается!

Из кухни кричала Эля. Кричала потому, что хотела перекричать кухонный телевизор:

— Так и что они сказали? И что тебе заплатят? Долго ты! Ужин давно на себя не похож! Сами, ты не забыл: в субботу мы идём к Розе и Науму?

Павлином Самуил вошёл на кухню и подмигнул, уже по своей воле.

— Знаешь, Эля, я бы выпил.

— Так, Сами, я же что — против? Значит, согласились твою белиберду напечатать?

— Эля, всему своё время, всё надо делать основательно! — Поднял бокал. — За мой роман!!!

После ужина не пошёл насиловать компьютер (любимое определение Эли), а завалился на диван и мечтательно уставился в потолок.

— Какая женщина, какая штучка! — шептал Самуил.

Эля заглянула в гостиную, игриво произнесла:

— Да-а-а, я такая!

Утром следующего дня Эля застала Самуила у компьютера.

— Что, муза уже с утра пристаёт? Ты на часы смотрел? Восемь утра! Может, отдохнёшь?! — И в сторону: — Вообразил себя писателем... впрочем, всё занят чем-то. — Махнула рукой и ушла готовить завтрак.

А Самуил ей вдогонку:

— Эля, не мешай, я деньги зарабатываю, мне в издательство сегодня...

— Ты какую кашу будешь? — из кухни спросила Эля.

— Овсяную, конечно, как обычно!

Тьфу ты, в самый напряжённый момент начинает меня дёргать! Прямо саботаж какой-то!

Так, на чём я остановился... Глава четвёртая — «Так нас там и ждали», страница тридцать шестая:

«...выйдя из порта, я увидел на заборе нацарапанное огромными буквами приветствие от моряков, в котором слышалась такая любовь к родной власти: “Х...й вам, власть советов! А нам свободы не видать!”

Вот те на! Обалдевший от такой вольности в иностранном порту, я взглянул на настроение коллег...»

Да-а-а, вот время было: лишнего не скажи, не напиши. Зато теперь — что хочу, то и ворочу. И всё равно славное было время!!!

Позавтракав, Самуил засобирался.

— Надо пораньше сегодня выйти — может, главного редактора в издательстве встречу.

Подумаешь, немного слукавил, не выбрал ещё издательство, но ведь выберу. Списочек адресов уже есть. Так что сегодня непременно забегу в издательство.

— Да иди уж, полчаса в зеркало дышишь, издатель что — женщина из синагоги? Галоши не забудь надеть — дождь может пойти. А надухманился-то!

Самуил выскочил на улицу.

«Погодка сегодня! Дождя нет — зачем только галоши надел?

Володя Зальцман по телефону рассказывал: моделей для своих картин находит в трамваях, метро. Тяжело здесь художникам — сколько денег надо на холсты-краски, натурщиц тех же! А мне вот только компьютер да талант. Надо бы тоже приглядеться к барышням — для вдохновения, для чего ж ещё?!»

И заспешил к метро.

В метро все сидели с застывшими лицами.

«Вот-вот, поэтому мы и называем финнов тормозами с отмороженными лицами. Хотя, может, они думают, анализируют свои поступки. И говорят они медленно, слова подбирают — видимо, обидеть не хотят... А вон тот финн...

Нет, не финн это — сомалиец. Эти говорят громко — невоспитанные!

Да, точно, сомалийцы! Поди, с гаремом своим — женщины всё в чёрных паранджах. Хорошо устроились: не работают, сидят на полном соцобеспечении. Наум рассказывал, что им даже телефонные разговоры оплачивают, не говоря уже о квартирах, питании, детских садах. А детей у них! Ну, будь у меня три жены — я бы тоже стал как сомалиец, (т. е.) уж постарался бы. А так одна дочь — и та за шведа вышла, уехала в Стокгольм жить.

Вот Наум не советовал вечером на метро ездить говорил, молодые сомалийцы грабят в переходах: кошельки, мобильники отбирают. Правда, сказал, к русским по-братски стали относиться, после того как один русский им напомнил, что в рай финский через Россию попали*. Иногда полезно слегка пошантажировать. Так после этого не трогают. У них, видимо, информация среди своих быстро распространяется. И на черта финнам эти сомалийцы — лучше бы наших пустили да облизывали так же! Хотя нет, не надо наших! Наши бы революцию начали готовить, а ещё хуже — делить всё поровну стали... Вот китайцы — это другое дело: работающие, всем довольны, всем улыбаются, благодарные. Помню, на третьем этаже у китайчика дверь захлопнулась — он давай звонить по всем квартирам:

* Согласно официальной легенде, сомалийцы прибыли в Финляндию через Москву из-за того, что на горячо любимой родине разгорелся пожар братоубийственной войны. В реальности же прибывшие в Финляндию загорелые наши братья были детьми элиты коммунистического кровавого диктатора Саида Барре, которые изучали в Москве коммунистический манифест и основы всемирной революции....

мол, помогите! Днём ведь все на работе — ну мы с Элей и пустили мальчонку к нам. От нас он звонил своим куда-то. Те прибежали через полчаса. Правда, не мальчиком он оказался, а взрослым отцом семейства; да чёрт их разберёт, все на одно лицо — что глава семейства, что родственники. А какими благодарными китайцы эти оказались! Вермишели, баночек каких-то целую корзину притащили. Эля сказала, продукты очень у них хорошие. Да, лучше бы китайцев принимали!»

Через сорок минут он уже стоял перед окном салона.

Клара двигалась по салону, будто танцевала.

Самуил с восхищением смотрел на неё, не заметив, как предательски открылся рот. Клара вдруг остановилась, посмотрела на него сквозь стекло и тоже открыла рот.

Самуил опустил глаза на уже знакомое объявление:

«Кто, как не вы...»

«А может, действительно зайти, а то стою здесь, будто в Амстердаме девочек в окне разглядываю!»

Клара говорила с кем-то по телефону.

О, если бы Самуил слышал, о чём она говорила! В дураки бы точно потом не записали!

— Нет, серьёзно говорю тебе: странный он какой-то. Второй день здесь ошивается. А вдруг думает взорвать? Мы же только ремонт сделали. Представляешь, он в галошах! Рот всё время открыт, и наше объявление о курсах имиджа изучает. И на черта попу баян?! А если из налоговой?!.. Да что ты, старпёр лет восьмидесяти! Хотя... Вчера, когда Лилька выходила из салона, подмигнул ей и сказал, что ему хорошо. А вдруг маньяк какой? Ой, слушай, вроде идёт, всё, пока.

— Добро пожаловать в салон красоты! А я и есть Клара, — голливудски широко улыбаясь, произнесла Клара. — Вас что-то интересует?

У Самуила явно, как говорится, «в зобу дыханье спёрло» — он начал хватать ртом воздух, сказать ничего не мог, только «Хм!»

А про себя воскликнул: «Ещё как интересует!»

— Вы, по-видимому, по поводу курсов имиджа? Для внучки, наверно? Вот и замечательно! Можете купить ей подарочный сертификат. Триста евро — и ваша внучка узнает о себе всё!!!

— Ну, в общем... не решил, хотя...

Самуил прикинул в мыслях: сколько же дней они могут жить на триста евро?

И протянул Кларе руку:

— Давайте знакомиться, я Сами...

Клара хохотнула:

— Ха, Сами с усами?

И вложила изящную руку в вяловатую ладонь Самуила.

Правый глаз его предательски задёргался — от счастья, наверно.

— Если вам так нравится, могу... могу и усы отрастить. Вообще-то, это моё имя.

— Значит, Сами — финское имя?! А вы, смотрю, на финна мало похожи. Сама подумала: «Из него Сами — как из меня Клара Цеткин, ведь наверняка какой-нибудь Соломон или Гарик!»

— Жена меня так называет — говорит: уж коль в Финляндию приехали, надо на финский лад зваться. А вообще-то, Самуил, а с вами я в синагоге встречался.

«Странно как-то: я с ним не встречалась, а он со мной, видите ли!» — подумала Клара.

— Я писатель, — бухнул Самуил.

Она только протянула:

—А-а-а!

На Клара, похоже, это не произвело никакого впечатления. Да и могло ли, когда тут, у неё в салоне, причёсывались, делали маникюр и омолаживались разные? А уж этих писателей видела она перевидела и одно могла про них сказать: «Чокнутые! С больной психикой люди, особенно русские. Финны писателями себя называют редко — это у них не профессия, на это не проживёшь — скромные финны, в салон забегают подарок кому купить и то дешёвенький какой. Понятно: денег нет, а чтобы процедуру какую взять — этого не дождёшься».

— Милая Клара, — продолжал Самуил. При этом он, правда, оглянулся: вдруг кто услышит, — я вот тут подумал: а не продолжить ли нам знакомство в кафе?

Говорил, а сам судорожно подсчитывал в уме: хватит ли ему двадцать евро на два кофе и его любимый круассан? На два, в смысле, круассана.

Глаз опять замигал без разрешения.

Клара странно отреагировала на его приглашение. Самуилу даже показалось, что её затрясло (наверно, от восторга), и губы она странно поджала — засмушалась, что ли?

Ну и красotka! А как себя держит!

— Замужем я! Муж с минуты на минуту должен подъехать, к тому же я на диете.

И как вы себе это представляете? Закрывать салон, чтобы пойти знакомиться с вами в кафе! — вроде как рассердилась Клара.

А штучка не простая! Ну, я ещё и не таких уговаривал... А если бы муж не должен был вот-вот нарисоваться, а если бы после диеты, а если бы до или после работы?! Видно, любит себя: всё «я» да «я». Нет, она открыто оставляет мне шанс!!!

— Ничего, в другой раз, ведь и я спешу — мне в издательство пора.

И вышел из салона.

— Ну и козёл! Из него песок сыпется, а туда же!

Но сильно рассердиться не успела — зазвонил телефон.

— Да? Жива, не маньяк, просто старый дурак! В кафе приглашал. У самого небось дома Сара, а он всё молодость забыть не может! Вишел бы, как ёрзал и джентльмена из себя строил! Чёрт с ним! Ну, к пяти подъезжай.

Самуил нисколько не расстроился, только подумал: наверняка красавица цену себе набивает — мы ещё посмотрим, кто кого на кофе приглашать будет, я как-никак писатель!

Та-а-ак, где списочек-то адресов издателей?

Издательство на Аннанкату, 23 размещалось в старом здании югенд-стиль на третьем этаже.

«Ничего себе устроились, а лифт — как во дворце каком! Сколько же они за аренду офиса платят, это же центр города?! Дверь дубовая — видно, хорошо бизнес идёт. О! А название издательства “Звон — Портачефф & сыновья” — не хухры-мухры, впечатляет! Самуила обрадовало название — наверняка по-русски говорят. Фамилия на -офф — видно, из революционных иммигрантов. Должны, во всяком случае, говорить, ещё и называют себя издательством Союза ингермаландских писателей. А ингермаландцы — наши русские или евреи, да какая разница, одно слово: наши в Финляндии.

Значит, не подвело меня чутьё: правильное издательство выбрал. Мой размерчик!»

В маленьком офисе за огромным столом, заваленным разными бумагами, сидел молодой — ну, лет тридцати пяти — франт с замысловатой причёской (Самуил вспомнил рекламные фотографии в салоне Клары), распахнутым воротом клетчатой рубахи (у Самуила был галстук), с торчащей в зубах сигарой (Самуил сразу определил: кубинская — ах, куривали в своё время!).

А при чём тут сигара?! Не вписывается сигара в стиль этого франтика! Разве молодые курят сигары? Разве могут они, эти... понимать вкус благородного табака?! «Что-то тут не так!» — подумал Самуил.

И вдруг отголоском этих мыслей услышал голос жены: «Всё у этих финнов не так, и не поддаётся объяснению». Он даже вспомнил, когда Эля так сказала: сидели как-то...

Кафе в «Стокманне»... что ни говорите, а у финнов хороший кофе! Так вот, сидим за столиком, людей разглядываем, ну, и сами с достоинством — не каждый здесь позволяет себе в кафе ходить. Вот Роза с Наумом не ходят — деньги на Канары копят.

Сидим, значит. Вдруг за соседний столик присаживается бомж (по одежде решили). На стул взваливает полиэтиленовые пакеты, из них торчат сапоги старые, кастрюля — всего не разглядеть, видимо, на помойке набрал. Официантка приносит ему заказ: салат с креветками, бутылочка пива. Мило ему улыбается. Уходит.

Мы с Элей от удивления даже переглянулись.

Бомж ест с таким великим наслаждением, что мы...

— А давай ещё по чашечке кофе закажем — интересно, что будет дальше.

Он заказывает ещё и пирожное, и чай. Мотает от удовольствия головой. Потом громко объявляет: «Мне сегодня сорок восемь — гуляю!» Послышались сухие поздравления: «Поздравляем!.. Правильно делаешь! Гулять так гулять!» Видимо, не одни наблюдаем.

Потом он расплачивается, оставляет чаевые, подхватывает свои пакеты и уходит.

Официантка приносит нам чек. Увидев наши изумлённые лица, поясняет: «Это наш постоянный клиент — приходит раз в неделю. Каждый имеет право на хорошую жизнь с пирожным!»

Вот тогда, помню, Эля и сказала: «Всё у этих финнов не так — даже бомжи в дорогое кафе запросто ходят!»

Видимо, Самуил впал в глубокую задумчивость — фронт из издательства щёлкал пальцами перед его глазами, как психиатр, и кричал: «Халло, халло, вам плохо?»

Вот странный — на секунду задумался, а он тут пальцами расщёлкался!

— Что вы! Мне вполне хорошо, я хотел предложить вам...

— О! Ещё один! Даже не начинайте! Мне этого не надо! Я атеист! Свидетелями Иеговы не интересуюсь — не напрягайтесь даже!

— Нет, что вы, я по другой части...

— Интересно, по какой? Хм... Вы на часы смотрели? Обед же!

— Самуил Гольдман, писатель. Не задержу вас надолго... ну, если сами не попросите. — И подмигнул...

— Другое дело! Издаться хотите или напечататься в нашем журнале? Приятно иметь дело со зрелым талантом, да ещё и с «золотым»! — и сладенько захихикал. — А я директор издательства и главный редактор журнала «Звон» — Жан Портачефф. — И тоже подмигнул.

«Интересно: это один из сыновей или сам...» — подумал Самуил и пустился всхлипывать о горькой судьбе переселенцев, о риске... — Вы не представляете, какая потеря для мировой литературы, когда редкие таланты могут вот так вдруг быть неуслышанными...

— Короче, — оборвал издатель, — сколько страниц и каким тиражом хотите напечатать? Расценки наши видели? Раньше печатались? Вы же понимаете: мы в журнале публикуем только раскрученных или своих акционеров. А так — за деньги, и то вперёд!

— Это как это вперёд? Я не понял!

— Да деньги вперёд! Какой вы, однако! Что там у вас: роман, повесть, стишата? Мы, предупреждаю, печатаем только эксклюзив, понимаете? Ну, чтобы клубничка какая была...

— Сладенькое, что ли?

— Гольдман, не отвлекайтесь! Принесли своё сокровище? Нет. Частично? Вот и отлично. Ну и звоните — зачем приходите? Звоните!

Самуил смекнул: разговор о гонораре заводить даже не стоит. Хорошо хоть, взял часть рукописи. Повесть целиком такому отдавать как-то боязно — украдёт ещё и как своё напечатает.

— Есть у меня там пара-тройка словечек, ну... ненормативных, на странице тридцать шестой. Не вымарывайте, это очень личное — в определённом смысле, как вы сказали, клубничка!

— Ладно, не тронем, если вообще...

Жан схватился за телефонную трубку, другой рукой помахал в воздухе. «Попрощался», — решил Самуил.

Ошарашенный радостью, он не знал, ехать ли ему домой к Эле или...

«А вот прямо сейчас приду к Кларе и с порога: “Мою рукопись приняли для прочтения, а вы, дорогая, знаете, что это значит?”»

Через двадцать минут Самуил уже подходил к салону. Но...

Какая жалость — не успел! У него на глазах Клара вышла из салона, закрыла дверь, пересекла мостовую и...

Из «мерседеса» навстречу Кларе вышагнул мужчина, обнял её, довёл до автомобиля, даже дверь перед ней распахнул («Значит, не финн», — подумал Самуил), помог усесться («Нет, точно не финн»).

«Чёрт! У меня, у писателя, может, вскорости лауреата, из-под носа даму увозят!» — только и успел подумать Самуил.

На сегодня событий достаточно! Домой, скорее домой!

С порога Самуил почувствовал знакомый и такой любимый, запах фаршированной рыбы, которую жена Эля готовила лучше всех в мире — наверняка даже лучше, чем это делали в Израиле.

— Быстро раздевайся и к столу. Твоя любимая фишечка! А то соседка Галя-Хгаля из двенадцатой квартиры собиралась забежать — ну и нюх у этой хохлушки! Я с ней по телефону секунд несколько и успела поболтать — спрашивала, есть ли репчатый лук и белая булка, — а она тут же: «Ой, я не могу... ты що, знову мылого свого голубышь? Ой, Элю! твоя рыба-фиш — ще щось. Я скоро зайду!»

— Так ты же знаешь, что после Гали останется!

— Самуил, ты меня слышишь?

— А рукопись-то взяли? — И тут же себе под нос буркнула: — И кому-то охота читать записки моего маразматика? — Громко: — Сколько положили гонорару-то?

— Взяли! Эля, сейчас я приду, Науму только звякну — друга порадую!

Вот Самуил уже сидит за столом, рассказывает о том, как может измениться жизнь писателя, пока ещё никому не известного. Может, скоро на улице узнавать будут!

— Знаешь, Наум попросил, чтоб я почитал свою повесть в субботу, — ведь мы идём к ним? Сказал, соседей позовёт.

— Ну и почитай, хотя зачем людям вечер портить? Что, и финны-соседи придут? А им-то зачем? Да и не принято у них вслух что-то читать. Роза рассказывала: когда финны собираются, любят вместе молчать или пить. Ладно тебе, писатель, ешь, смотри, осторожно, а то костью уколешься.

Утро следующего дня Самуил посвятил написанию своего романа. Ещё лёжа в постели, решил: «Чего уж мелочиться, коль берут, — не повесть, а роман напишу!»

Эля гремела на кухне кастрюлями и всё время совращала то овсяной кашей, то тёртой морковью, то свежеиспечёнными булочками с кофе, понимая по пути вопросами. Язва всё-таки, но ведь своя, родная!

— Сами, ты что, в издательство сегодня не идёшь — времени-то уже полдень? Как они без тебя? И будь любезен: на обратном пути зайти в магазин, купи немного оленины. Роза сказала, совсем не хуже нашего кошерного. Ну что, пошёл? Шарф замотай — холодно.

И действительно, ночью подмёрзло — дорога стала что твой каток. Правда, рассыпали уже галечку, но не везде. Надо бы чиркнуть в домоуправление: деньги берут, а... это вам не Россия, в Финляндии всё чётко: заплатил — получил! А не получил — звони, пиши, жалуйся. Жаловаться можно как анонимно, так и открыто. Мы тоже умеем свои права отстаивать — знай наших!

Вон на пятом Тарасенко живёт — он из Белоруссии, курит много, иногда в форточку. Так кто-то из финнов-соседей, а может, и русских, анонимно вызвал полицию и пожарных, пожаловался: у русских дым коромыслом — может, бомбу готовят. Тарасенко больше всего возмутило, что его русским обзвали, — слава Богу, разобрались (опять-таки слава финской полиции!), в участок не забрали. Слышал, у них действует негласный закон: если рюсся на рюссию жалуется — даже не реагировать: сами разберутся.

Хорошо, что Эля шарф дала, — холодно-то как!!! Хотя от метро до салона рукой подать, а успел продрогнуть.

Самуил решил не стоять у окна салона. Вошёл сразу.

В салоне были клиентки-дамы и Клара.

— А-а а! Всё-таки надумали купить внучке подарочный сертификат! Вот и славно! В наше время такие заботливые дедушки редко встречаются!

— Здравствуйте, дорогая Клара! Ну, о сертификате позже. Я на секунду — решил вам сообщить: мою рукопись взяли в издательство «Звон», а вы представляете, что это значит?

Все дамы, сидевшие в салоне, разом обернулись. А одна из них — та, что в бигуди, — со знанием дела заявила:

— Это значит, обдерут вас как липку! Мой племянник тоже в писатели подался — так они, издатели хреновы, ему такой счёт выставили!

— Ну что ты! — вдруг ожила под маской другая. — Если талантливый писатель, ему гонорар платят.

Самуил подошёл к Кларе, подмигнул, сказал:

— А может, отметим это событие? Праздник у меня!

Решился на это предложение Самуил, потому как к заныканым евро теперь прибавились ещё и деньги, выданные Элей на оленину.

Наступила тишина, окрашенная удивлением, завистью и возмущением дам.

— Нет-нет! Я сегодня в Дом музыки на концерт иду. Не могу. Да и вообще, как вы могли подумать! — При этом она покраснела.

Дамы заулыбались, а та, у которой племянник-писатель, произнесла:

— Эх, а я бы пошла — давно ничего не отмечала.

Самуил перепугался: «Вдруг навяжется эта, в бигудях, — больно она мне нужна!»

— Ну, не страшно, дорогая Клара, как-нибудь в другой раз, — промямлил Самуил, поспешил к выходу, обернулся, послал воздушный поцелуй и вышел из салона.

Клара уже не скрывала своего возмущения, хотя должна была бы. Каких только клиентов она не принимала у себя — богемных выпивох, элитных проституток, членов парламента, ярких представителей разных стран, весь шоу-бизнес, детей, пенсионеров не говоря уже об утонченных и... и... всю яркую палитру придурков Хельсинки. Но они никогда себе не позволяли так настойчиво, так прилюдно... А этот противный, в калошах и с тиком, никому не известный писатель Сами-Самуил её, всеми уважаемую хозяйку косметического салона Клару достаёт и компрометирует, да и нацию позорит!

Хорошо, что Лиина и Натали не только её старые клиентки, но и душевные подруги, — при них можно расслабиться и уж высказаться так, как того требовал гнев.

— А ты, Кларочка, пожалуйся Никласу — он у тебя человек влиятельный, быстро писателя обрежет.

Тут все переглянулись и многозначительно захохотали.

— Ну, ты, Лиинка, в точку — там и без того... это... Клара, ты лучше к его сыновьям обратись — ты с ними как? Рудик и Томас такие импозантные, такие красавцы! Видела их тут в Опере с дамами... Неужели не помогут с пустяковым делом разобраться?!

— У меня с ними всё тип-топ. Обедаю, ужинаю то с одним, то с другим — они мне как сыновья, хоть мы одного возраста. Рудик вообще старше меня. Делятся проблемами — я их утешаю, как могу.

— Кларочка, но ты же у нас выглядишь моложе любой молодой! — встряла Натали.

— Девочки, профессия обязывает! Действительно, к мальчикам надо обратиться. Они тут оба на неделе появлялись. Надо позвонить.

В это время Самуил раздумывал, стоя с открытым ртом на Лапинлахдентие.

Что и говорить: насильно мил не будешь! Огорчительно — не то слово. И её выражение лица! И улыбочки этих дамочек! Он весь кипел от возмущения.

Ах, как он боялся этого своего состояния! Знал, что не сможет совладать с подступающим чувством справедливости, неизбежно приводящим к месту. Но поставлен перед фактом: «Она замужем, да и вообще, как я мог?!»

Самуил зашёл в итальянский ресторан рядом с салоном, заказал чай, сел у окна. Каждые пятнадцать минут подходила официантка и спрашивала, не принести ли ещё чего-нибудь.

«До чего же навязчивые эти итальянцы!»

Где-то около пяти на другой стороне улицы остановился жёлтый «Порш», и из него вышел молодой мужчина, который устремился к... Да-да, Самуил не ошибся — к Кларе он устремился!

Молодой человек поцеловал Клару, обнял, усадил в машину!

— Так она... вон что... как она могла?! С каким-то щёголем, с какими-то разными глянцевыми молодцами... а мне отказала. — Он задыхался от возмущения. — А как же честь и совесть еврейской женщины, да и не только еврейской?! А где справедливость?! Мне, ни на что не претендующему (ну, если только на уважение и почитание, и прочтение), достойному писателю, она отказывает вот уже второй!!! раз. А к... к... каким-то иностранным мачо, даже не финнам, прыгает в машину! Интересно: а муж её об этом знает?

Всю дорогу домой он обдумывал, как расквитаться с Кларой за его, Самуила, позор. Она вспомнит ещё обо мне!

Спустился в метро. Там всё как обычно: народ, мельтешение. В поезде сидят все как памятники — застывшие. Надо всё обдумать. Он даже чуть не проехал свою остановку. Благо вовремя очнулся — успел выйти.

Вошёл в квартиру, стал раздеваться.

Из кухни выскочила Эля, взглянула на Самуила:

— Та-ак, всё понятно, гарбуза получил! А где оленина? Сами, да не бери ты в голову, ты же знаешь, все женщины лживы и глупы, даже если они из синагоги! Поэтому ты выбрал меня — умную, честную и верную! Помнишь, как у Раневской: «Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности: брюнетки или блондинки?» — «Седые!»

Ужинать будешь? Нет? Как знаешь... Не забудь завтра оленину купить! А то все уже ели оленину, а мы только в издательство ходим!

Весь вечер и следующий день Самуил вёл «частное расследование» — конечно, это громко сказано. Просто обзванивал своих приятелей и выяснял чисто по-дружески, конечно же, без передачи Эле, а то она и так его считала...

— Лучше умолчу кем... — шептал он друзьям.

— ... Наум, думаешь, Соломон знает? Да, это рядом с нашей синагогой, да, просто узнать, кто владелец салона...

А что случилось? Нет, не слышал... мы газет не выписываем — дорого! Что, прямо в синагоге? Действительно разбой?! Нет? Шутишь!!! Ой... Наум, я тебе перезвоню.

— ... Соломон, только Эле ни-ни, да, на Лапинлахдентие, не помню точно, вроде салон «Клара». Рафик, говоришь? Я ему позвоню. Спасибо, дорогой, за мной коньячок армянский! Про синагогу? Да, немного слышал от Наума. Согласен: забавно....

— ... Рафик, ну спасибо тебе! Никлас Далберг, говоришь, по-русски говорит? Николай? Он наш, что ли? Нет? А-а-а, финский швед! Оно и лучше! Нет, я о своём! Дело у меня к нему.

Узнать телефон и адрес электронной почты Никласа Далберга, известного в Хельсинки бизнесмена и владельца трёх ювелирных магазинов, магазина русских сувениров на Эспланаде, двух ресторанов и элитного салона красоты «Клара», не представляло труда: открываешь телефонный справочник, делаешь пару звонков в телефонную службу — и всё! Информация собрана!

До Наума дозвонился с третьего раза. Ну и говорун!

— Наум, я поблагодарить, ты просто Дом советов!.. Ну прости, не то хотел сказать вот именно! Спасибо тебе, всё выяснил.

Так что там случилось? Синагога-то стоит? Полиция на утро?.. Бомжи пьянствовали всю ночь в подвале синагоги?.. Как это?.. Не понял, а как бомжи там оказались? ... Ну да, помню, узкие такие окна на уровне земли... С ума сойти!

Ха, вот смотри: отмороженные, а сообразительными оказались! Там ведь на складе кагор должен быть!.. Выпили? Не-ет, не может быть!.. И закусывали солёными грибочками?.. Пели?.. Ну дают!!! С кагора, наверное, веселились... А почему только наутро полиция приехала?.. А-а-а! Понять можно: кто обычным прохожим поверит, что в синагоге ночью дебоширят?! А что раввин?.. Сказал, не было грибочков? Да ну-у... только крайняя плоть?! Ой, не могу, оййй!.. Ну да, в темноте-то не понять... А что полиция?.. Ну, это понятно — им бы только ржать!.. Дела-а-а! Действительно событие века! Но весёлое!

Так, в субботу встречаемся! Пока.

Развеселившийся Самуил вбежал на кухню и в красках пересказал Эле «событие века».

Эля как-то странно отреагировала:

— Сами, ну ты совсем перестал мышей ловить! Это старая байка, которую сами же евреи и выдумали! Да я её лет пять назад слышала. Тебя просто разыграли! Ты этим весельчакам расскажи по секрету, что скоро появятся в продаже кошельки из «крайней кожи», которые при определённых манипуляциях превращаются в чемоданы! Ты мне лучше скажи: почему в издательство не поехал?

Эля начала тревожиться — Самуил второй день сидел дома, уткнувшись в компьютер, или болтал по телефону, прикрывая дверь, и одним своим озабоченно-мрачным видом её раздражал. А если задумал что? Предыдущая его влюблённость закончилась довольно-таки грустно для него самого и, естественно, для неё. Его побили, а она, как настоящая жена, утешала и отхаживала, но это было ещё в России. Седина в бороду, а ведь нисколько не изменился. Хотя...

Флотская кондовость потихонечку превращалась в писательскую кондовость.

Раньше-то в любимых словах и фразах числились «шантаж», «саботаж», «отбой», «отдать кранты», «ты мне гайки не закручивай», «что моя

буффало (буфетчица) сегодня настряпала»... Тогда друзья посмеивались, а Эля злилась. Сейчас же, хоть и не завелось новых слов, но, как говорил Сами, появился свой авторский стиль такого бывалого морского волка.

Пусть лучше писателем будет.

— Так, ты звонил в издательство или что? Так они тебя берут или нет?

И то правда, пора уж позвонить — чего выжидать, чтоб другого взяли? Вот уж дудки! И Самуил позвонил.

— Издательство «Звон — Портачефф & сыновья» слушает.

— Вас беспокоит Гольдман. Я по поводу моего романа, вы с ним озна...

— А, Соломон! Золотой вы наш человек! Конечно, прочитал, «Нервная гипотенуза» — так ведь называется ваш роман? Нет, с книгой повременим, а вот в наш журнал пару глав тиснем! Есть, есть у вас там забавные моменты!

— Вообще-то, я Самуил...

— Да какая разница: Самуил, Соломон или Моисей! Вы же Гольдман, а это очень гордо и многообещающе звучит!

— Спасибо, а как насчёт страницы тридцать шестой — там была эта... ну, как её?

— Фишка, фишка, дорогой! Не тронули мы ваш «х..й». Ха-ха!!! Ну, вы, однако, безобразник! Так что вышлем вам журнал с вашей публикацией и счёт. Пока! — И повесил трубку.

«А что я говорил: будет и на моей улице праздник! Да уж, есть чем похвастаться в субботу Науму и его гостям!»

— Эля, дорогая, меня напечатают, и на счёт обещали что-то выслать. Слушай, даже если мизер заплатят — пускай. С чего-то ведь надо начинать!

Эля крикнула из кухни:

— Поздравляю с почином! — А себе под нос буркнула: — Журнал идиотов — кто ж ещё возьмётся его бредни печатать....

Уткнувшись в экран компьютера, Самуил с новым для него самого азартом начал писать письмо доброжелателя.

«Уважаемый господин Далберг, я — Самуил Гольдман, писатель. Живу в Хельсинки. По роду своей деятельности часто посещаю людные места — чтобы писать о народе, надо с народом быть! Ну, Вы меня понимаете!

Так вот что хотел Вам рассказать: однажды, опять-таки по роду своей деятельности находясь в синагоге, увидел я Вашу жену и подумал, что она вполне могла бы быть идеальным прототипом героини моего ещё не законченного, но начатого романа. Она, Ваша жена, — достойнейшая женщина, можно сказать, бриллиант, что не удивительно: выбрать такую, милейший Никлас Далберг, могли только Вы. Нет, лично с Вами я не знаком, но мой приятель Ефим Вассерман, владелец ювелирного магазина на улице Исо Робертинкату 10, таки знакомый с известным Вам Рафаилом Циммерманом, рассказывал мне о Вас. И что я имею Вам сообщить: даже не знаю,

с чего начать, но мне кажется, Вы даже не подозреваете, в какие сети попала Ваша жена! Признаюсь: я был случайным свидетелем того, как её преследовали изо дня в день двое аферистов-иностранцев. Поверьте моему чутью, оно меня никогда не подводило: это криминальные личности, иначе откуда у них имеются такие дорогие машины? Номера машин: SOS-333 и WAU-666.

А? Удивлены? Вот и я про то же! Такие номера могут быть только у мафиози. А видели бы Вы их! Так вот, эти двое, а может, их ещё и больше, каждый день поджидают Вашу жену из салона, насильно обнимают и всё такое, увозят в своих машинах в неизвестном направлении. А что, если они наркоманы, а ещё хуже — насильники? Ваша бедная Кларочка под угрозой смерти их терпит. Как больно всё это видеть — вот и решился Вам написать. Действуйте! Я вас всегда поддержу! Рассчитываю на дружбу. Ваш Самуил Абрамович Гольдман, или просто Сами.

Так-так, чудненько, готовенько! «Enter»! Всё, ушло!

И тут Самуил понял, что, находясь в эйфории, отправил письмо со своего электронного адреса, — и теперь адресат знает все координаты отправителя, а не только имя доброжелателя!

«А и пусть, — решил Самуил, — у благородных дел должны быть свои герои!»

Всю пятницу Эля готовилась к походу в гости. Она непременно хотела угостить Наума и Розу своим фирменным тортом-сметанником. С Розой было оговорено, что десерт несёт Эля, в Финляндии среди близких друзей принято: мы закусу, вы ставите выпивку, а те десерт... Это вам не Россия, где кто приглашает, тот и угощает.

А вообще, это удобно: и хозяйке такая вечеринка адом не покажется, и гости не будут чувствовать себя обязанными. Правда, финскую традицию налить по рюмочке и убрать в шкаф бутылку перенимать никто не хотел. Пить так пить, и бутылку на столе держать, а не прятать в шкаф.

Самуил репетировал написанные три главы из романа — народ ведь соберётся, Наум обещал!

В субботу утром тоже успел прорепетировать, потом завтракали, и Самуил всё удивлялся на себя: ну и дурак же, вот само совершенство — моя Эля! И готовит прекрасно, и красавица, и умница! В три пополудни собирались выходить из дома.

Около двенадцати в дверь позвонили. Открыла Эля.

На пороге стояли полицейские: один огромный и двое щупленьких.

— Здесь проживает Самуэл Голдман? — спросил щупленький.

В дверях появился Самуил.

— Да, это я! — начал он на ломаном финском. — Если вы по поводу моего письма в городское управление о плохом содержании дорог и тротуаров, так я с полной ответственностью заявляю...

Его перебил другой полицейский:

— Самуэл Голдман, вам надо проехать с нами в участок — на вас заведено дело за клевету и моральный ущерб. Заявители — Рудольф и Томас Далберги. У нас в Финляндии с этим строго! Пожалуйста для выяснения!

Самуил удивился:

— Что вы, это ошибка! Я этих людей не знаю! Первый раз о них слышу!

— А письмо с электронного адреса goldman@yandex.ru разве не вы отправили господину Никласу Далбергу, отцу уважаемых Рудольфа и Томаса?

— Кстати, Рудольф представляет нашу страну в ЕС в Брюсселе, а Томас Далберг — известный в Хельсинки адвокат! — встрял другой щуплый полицейский.

— Да я, что вы, я не... не знал...

Самуил опустил глаза и сразу сник.

А вот Эля спокойно и, как всегда за столом на кухне, несколько утомлённо заметила:

— Сами, ты опять вляпался, я тебе говорила: куда лезешь, не имея денег? И ещё скажи, что специально, дабы обогатиться писательским опытом, запланировал посетить такое экзотическое и людное место, как финская тюрьма! Так я тебе вот что скажу: не волнуйся, у финнов хорошие тюрьмы, там можешь даже писать свой роман, и кормят совсем неплохо. Закажи себе сразу кошер — меню у них составляют на неделю вперёд. На выходные отпускают домой, так что и соскучиться не успеешь. Это мне Зоя рассказала — ты помнишь Зою? Так её сын Аркаша как-то обозвал какого-то цыгана не то козлом, не то вором — тот пытался одолжить с его машины дворники. Так и знаешь что — Аркашу обвинили в оскорблении представителя национального меньшинства. Сами, если тебя кто-то в тюрьме нелюбезно обзовёт евреем, ты тоже можешь подать на них в суд!

Полицейские стояли молча. Один, правда, шепотом заметил:

— Ну и разговорчивая! Мужа в участок забирают, а она байки травит. Я думал, он финн, имя-то финское — Самуэл! А они вроде по-русски говорят. Сейчас их охлажу!

— Одевайтесь. И документы возьмите! — И в сторону сказал: — А то как-то привезли одного эстонца, а он оказался братом подозреваемого — видите ли, тот, кого привезли, говорил по-фински лучше, да и не работал. Мол, у него времени больше с полицией разбираться, как потом уже объясняли. Вот странный народ эти почти русские!

Эля побежала на кухню, вернулась через несколько минут с пакетом.

— Вот, возьми, на первое время. — Протянула пакет Самуилу.

— Это что? — спросил полицейский.

— Как что? Тортик сметанный и носки шерстяные — у него ноги ночью всегда холодные.

Пакет взял третий полицейский — тот, что огромный, — и спросил:

— А зачем? У нас в полицейском участке тепло, и кормят задержанных. — Пакет в его руках казался спичечным коробком.

Щуплый тут же с улыбочкой добавил:

— А вот выпить не дают! Ваш-то пьёт?

— В участке тепло, так ведь в камере холодно... — упавшим голосом начала Эля. Сами не пьёт, что вы, он следит за своим здоровьем!

— Женщина! Тоже мне мечтательница! Ха! В камеру мужа отправить захотели? Штраф в лучшем случае, а в худшем — большой штраф!

Эля велела Самуилу надеть шарф, галоши. Потом сама застегнула ему пуговицы на драповом пальто. Обняла. Взяла под руку, проводила до двери. На прощание поцеловала в щёку, шепнула:

— Ты там не задерживайся — нас на Новый год Галя, соседка, приглашала в гости, галушки обещала сделать.

Четверых лифт не вмещал — спускались по лестнице.

Полицейские переговаривались:

— Слушай, твоя бы стала пуговицы тебе застёгивать?

— Да прямо, моя и торт не дала бы!

— Нет, вот, говорят же, что русские бабы душевные, — видел, поцеловала?!

— Не знаю, не пробовал! Но эта, видимо, из таких!

Краем уха услышав этот разговор, Самуил возмутился:

— Мы евреи!

Полицейские продолжали между собой:

— Юкка, а чем он недоволен, ты понял?

— Да русские всегда возмущаются, ты что, не помнишь последние выборы: то они протестуют и хотят Путина, то опять протестуют и уже не хотят... А на Новый год при этом все, как зомбированные, приклеиваются к ящику и смотрят поздравление своего президента. У нас в подъезде сибирик один живёт, иногда мне сувениры из России привозит по-соседски, так что я их знаю, этих русских.

— Ладно тебе, Пекка, что, забыл наши выборы? Нет, я конечно, толерантный человек, но я тоже некоторых не хочу... Наш президент нас не поздравляет!

— Интересно, этот Самуэль торт заберёт или забудет? Аппетитненько тортик-то выглядит, — задумчиво произнёс огромный полицейский.

Все четверо сели в полицейскую машину и уехали.

В три часа дня Эля вышла из дома. Уселась в автобус, держа в вытянутой руке клюквенный торт, — хорошо, два испекла! Она обдумывала, что скажет Науму и Розе.

«Пожалуй, скажу, что Сами в издательство срочно вызвали — контракт подписать на издание романа. Всё у Розы с Наумом хорошо: дочь им новый телевизор купила, только что с Канар вернулись. А мы не хуже?! Вон дочь в Швецию зовёт. Швеция — это тебе не Канары, это страна Нобелевской премии! Опять же чек какой-то Сами обещали выслать, надо не забыть про это рассказать. У нас тоже всё хорошо! Мы и сами с усами!»

Леонид Яковлев

(Кфир Гришмановский Раёк)

Родился в Ленинграде. Окончил химический факультет ЛГУ в 1985 году.

Эмигрировал в январе 1996 года в США, в 1998-м переехал в Финляндию, в 2015-м в Израиль, в 2016-м обратно в Финляндию.

Проживает в деревне Херракунта, муниципалитет Вихти, Финляндия. Работает ведущим разработчиком в корпорации «Нокия».

* * *

немного в мире стран
что посылая
своих солдат
своих детей
на бойню
пусть даже из нужды и справедливо
им разную судьбу пророчат в смерти
себя поставив выше той бездушной
к происхождению
крови
и фальшивой форме
имперское наследство ли мешает
склонить главу пред равенством последним
иль вера в то
что избранные
люди
а остальные
человечий материал
понять я не могу
принять тем боле
лишь голову склоняю непременно
как слышу звуки марша иль сирены
я не спрошу
по ком на этот раз

* * *

«Рай, он ведь, как СССР, на всех один».

прозреваю священные горы
иллюминатор
облаков кучевая вата
вместо верха и низа
вижу себя в самолёте
сегодня слова на бет
древние смыслы
блаженной вершины
балаган богатства
бардак бедности
и бедлам
божество без убожества
святая земля

СУДНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

утром судного дня
в понедельник
мы впервые с тобою на ты
не потратить сегодня нам денег
припрятана рома бутылъ
в телевизоре только помехи
интернет усекли у границ
том на полках один без огреха
не прочесть нам безгласных страниц
мы в себе совершенства поищем
не поможет навязанный пост
мы с духовной и прочею пищей
питиём в жизнь выходим из грёз
двуединство внезапное наше
искупление
были грехи
после третьей звезды мир не страшен
в пику брахме поют петухи

* * *

струны всего-то три
а музыка святая
давидовы псалмы
ситар
маца
кеглевич
дай дайену
хасиды пьяные
от мантр
уже устали
классический коан

* * *

пусто в ершалаиме
к шабату готовятся
звери птицы еноты
арабы дети туристы
лишь кришнаиты
стучат у стены в барабан
пустота что над небом
благосклонно внимает

ПОГРАНИЧНОЕ

я не вернусь
боюсь
некому будет вернуться
неоткуда
и не найдётся резона
тёмной материи тёмное блюдо
предательски изошрённо
пряно как чёрный вкус шоколада
индейских обрядов
каждая буква в иврите всегда прописная
имеет значение и смысл невозбранно товаркам
а во лбу горит фара
скажешь
шахтёр
где же
спрошу
бригада

качусь диогеном
полудня свет подминая
вояж на землю святую
без дозволения синедриона
чуждые культов жрецы сбиваются в стаи
у последней из границ
ожидает красный телёнок

ИСХОД

наблюдаю в окно вечерами закат
ты луне не сестра
а я солнцу не брат
между звёзд дальних сродников не найдём
не сбежать нам млечным путём
мы прикованы к почве дизайном крыла
а пегасов табун
закусив удила
покидая планету
не сдёрнет с собой
мы застряли
единожды встав на постой
но сегодня
с субботнею первой звездой
из кладовки я ступу поставлю в прибор
помело из чулана
и две табуретки
ты пилотом
как должно брюнетке
мы стартуем на бреющем
нас не засечь
обогнём хар а-байт
чтобы зло не привлечь
унты нам приземленье на плиты смягчат
храму жертвой
о стену пенный мускат

Надежда Жандр

Родилась в Ленинграде, живёт в Финляндии с 2000 года. Образование филологическое (специальность — «Немецкий язык и литература»). Продолжила обучение в Финляндии, в университете города Вааса («Немецкая литература и литературоведение»). Автор пяти поэтических сборников, печатается в периодических изданиях и антологиях. Надежда Жандр является членом Зарубежного отделения Союза писателей России (Санкт-Петербург), Международного ПЕН-клуба, а также шеф-редактором антологии переводов «Небо без границ».

* * *

Жертва и мудрость
Зёрна граната в ладони.
С руки дающего
красными нитями стекает сок.
Стигматы души.

* * *

В Израиле на пыльную дорогу
я выхожу — и камни собираю.
Цветы скоплений — хаосов горячих —
лежат веками в форме неизменной
остроугольными зазубренными снами.

Скажи, мой друг, кто видит в них цветы?
Кто серых лотосов бушующее пламя
навечно в этой форме остудил?
И спят они, и даже раскаляясь,
не принимают первозданный облик
над розово-зелёною волной.

Возьму я камень. Радостное сердце
его растопит — ладаном душистым

сама твердыня мирно разольётся
и — погляди — останется в руках
осколок света, розового воска,
воздушной шёлка легкокрылый лоскут —
моей души оттаявший цветок.

* * *

Ветра веер волны вышивают.
Времени велюровая вязь
сном стекляруса седеет, снеговая.
Соль сирени свитками срослась.

Бертолетово-белёдые барханы
бороздят безбрежность. Бисер брызг!
Шалые, шершавые шерханы
щеглятся, щетиня шкуры: «Шшшшиссс...»

* * *

Шорохи шлюза. Шагреневого кожей песок.
В воздухе липком зависла безмолвная бездна.
Не прикоснись — то мембраны вневременный сон,
не усомнись в парадоксе стихий равновесных.

Серое рубище ветер просеял насквозь.
Над головою лиловой полоскою утро.
памяти скарб — вечный зов — узловой варикоз
листья затопит следов в роковую минуту.

Ловкий возникчий загнал своего скакуна,
с губ полетела солёная белая пена.
Ахнули стены, пошла за волною волна —
Красное море, где плоские камни не немь.

* * *

Ляг на песок головой к волне,
солью нахлынув, она нашепчет:
время — бездонно, оно лишь лечит
раны во сне.

Силой возьмёт, унесёт далече,
скальпелем нежно откроет зренье —
видь под водой: плавно-шагреновы
тени беспечны.

А наверху бьются осколки,
режут лучи водяную плоть,
пляшут, смешат и хотят уколоть —
иглы их долги.

Если захочешь, попробуй, вернись:
тяжкое небо ляжет на плечи,
вот и задумайся, что тебя лечит?
но — берегись...

* * *

Ракушек скорлупу перетираю — хруст,
порез об острый край — загадка хиромантам.
Мой домик меловой и полый чист и пуст:
картавым голубям надёжная приманка.

От белизны сужается зрачок,
куриный ультразвук в движенье вёртких крыльев.
Вдыхает аллергично звездочёт
труху от перьев? Взвесь алмазной пыли?

И, запертая, мечется душа,
и заплетаются морщинистые лапки,
и вечность теплится и тает не спеша,
и на ладони капает украдкой.

* * *

Как нетронутый берег волнами тоски и забвенья,
как открытые губы навстречу ли солнцу ночному
или звёздам, проросшим на тёмной твердыне небесной,
я промедлю, за волосы времени свет притянувши,
и, как будто живым одеянием, тихие пчёлы рассвета
облачат мою душу.

Елена Зелинская

Петербургский писатель, журналист, теле- и радиоведущая, общественный деятель. Родилась в Ленинграде. Окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Автор книг «Дом с видом на Корфу», «Долгая память», «Форель в Кордильерах» и др. Её произведения переведены на итальянский, греческий и сербский языки. Лауреат премии за продвижение русского языка и литературы на Балканах. В настоящее время живёт и работает в Черногории.

ГОРОД ЗОЛОТОЙ

1

— На одном метре этой земли больше жизни, чем в ином городе, — сказала я, глядя на мальчишек в кипах, которые гоняли мяч на тротуаре, у стены, сложенной из выпуклых камней. Табличка, написанная от руки на английском, русском и иврите, уведомляла, что за этой кладкой пыльно-го цвета томился апостол Пётр.

— Причём так же и в глубину, если копнуть, — ответил Серёжа Чапнин, подумал, остановился на секунду и посмотрел на небо: — А уж если взглянуть наверх...

Мы ускорили шаг, чтобы не отстать от коллектива.

Иерусалимов не счесть. Горластый восточный базар, обнесённый средневековой стеной. Белый западный полис с модными магазинами. Прифронтовой участок с блокпостами и черноглазыми красавицами с автотоматами в нежных руках. Памятник основателям в виде цветущего сада, где к каждому деревцу, к каждому кустику благоуханному подведён шланг с живительной водой. Нищий арабский пригород с кофейнями, где смуглые молодые люди курят за низкими столиками, вытянув ноги. Осуществлённая мечта эмигрантов с бойкими людьми, болтающими на смеси русского с ивритом. Город церквей с Русской Свечой, как зовут здесь самую высокую колокольню, мечетями, откуда несётся таинственный крик муэдзина, аккуратными греческими храмами и могучими строениями крестonosцев.

И он — Небесный Град.

Чтобы увидеть его, вовсе не надо включать воображение. Он тут, рядом, прямо перед тобой, к нему можно прикоснуться рукою.

Простота и ясность его присутствия так сильны, что, ошеломлённый, ты понимаешь вдруг, что всего этого множества городов на самом деле нет, именно оно, это множество, и есть плод твоей фантазии, а на самом деле настоящий только он — Небесный Град.

Скажите: что может чувствовать человек, которому экскурсовод, сидящий на первом сиденье автобуса, повернувшись, говорит в микрофон: «Посмотрите направо. Там Геенна огненная. А налево, обратите внимание, — долина Иософата. Видите кладбище? Очень дорогие места. Ведь именно те, кто там похоронен, восстанут первые, когда наступит час Страшного Суда»?

Не знаю, как другим, но мне было бы непосильно путешествовать одной. Но я и не одна.

Наша экспедиция разместилась в четырёх автобусах. Прихожане, священники Нижегородской епархии и сам владыка Георгий, с проседью в чёрной бороде. Мы с моей дочкой Анютой и другие москвичи, например Сергей Чапнин, — на правах гостей.

Я в Иерусалиме второй раз. Впервые сподобилась побывать здесь вместе с матушкой игуменьей и сёстрами любимого моего Черноостровского монастыря, что стоит в городе славном Малоярославце. Ох, и крутило меня тогда. Главное — никак не могла смириться.

— Ну почему? — кричала я мужу (а кому ещё могу я кричать?). — Почему я, взрослая, самостоятельная тётка, должна подчиняться чужому капризу?

А дело обстояло так. Жили мы, матушкиными стараниями, в Горенском монастыре. Это довольно далеко от старого города, и чтобы добраться до него, нужно было пользоваться такси. Пустяк, казалось бы? Но матушка, которая не впервые путешествовала по этой загадочной восточной стране, каждый раз вызванивала одного и того же знакомого таксиста. Тот, надо заметить, был страшным разгильдяем и непременно опаздывал, да не меньше чем на час, а то и полтора. И этот час, а то и полтора, нам приходилось кантоваться на мощёной площадке у ворот Горенского монастыря. Происходила вся эта история, между прочим, в самом что ни на есть августе. Представьте, как я кипятилась, причём во всех смыслах этого слова! Бог весть откуда матушка терпение брала, глядя на мою надутую физиономию. Наконец, муж не выдержал моего напора и предложил один день провести оторвавшись от группы. Матушка не возражала.

Выйдя из ворот, я демонстративно набрала номер такси по вызову. Машина появилась практически сразу. Мы сделали ручкой честной компании и забрались в прохладный салон. Прытко, как школьник, сбежавший с урока, я выскочила из такси, едва машина остановилась у Яффских ворот. За мною, расплатившись, вылез и муж.

Я немедленно захотела пить, ватрушку и новую шляпу. Мы подошли к лавке, где два вёртких парнишки давили в стеклянной колбе шершавые гранаты. Я взяла в руки стакан, полный венозно-красного сока, а муж

рассеянно полез в карман. Потом в другой. В третий. Короче, кошелек не было. В нём, надо признаться, лежали, обращённые в наличность, все деньги на поездку, карточки и документы.

Мелочь на обратный путь в монастырь наскребли по карманам. Ма-тушка только головой покачала, глядя на наши смиренные лица, с кото-рыми явились мы под её светлые очи. Вот такая история. Хоть в патерик записывай.

Но теперь-то я учёная.

Первым делом у меня перестал работать телефон.

— Это для того, — назидательно сказала дочка Аня, — чтобы ты сосре-доточилась на паломничестве. (Сама-то, между прочим, вечерами торчала «ВКонтакте».)

Потом один за другим начали развязываться узелки. Новые друзья, как бы между прочим, шёлкали сгустившиеся перед отъездом проблемы.

Вот, например, я давно хочу, чтобы моя книжка появилась в Финлян-дии, и никак не могу найти издательство. Переживаю.

Сосед вынул из сумки журнал «Фома» и помахал в воздухе блестящей белой обложкой с красным пасхальным яичком:

— Как вы думаете: где мы эту красоту издаём? Правильно, в Хельсин-ки! Вот вернёмся — сосватаем и вашу книжку.

Задумала я снять фильм про питерские храмы и их прихожан, но самой не справиться — нужен знающий консультант.

— Я сама найду тебе героев, — улыбаясь, предложила Наташа Родо-манова.

Мне хорошо знаком её голос. Моя мама, которая в силу возраста пере-двигается мало, в пасхальную ночь смотрит по телевизору службу из Пе-тербурга. Я всегда остаюсь дома с мамой, и мы вместе слушаем, как Наташа ведёт трансляцию из Казанского собора. Голос знаю, а саму её, во плоти, увидела впервые. Плоть вполне под стать голосу — жаль, что во время трансляции ведущих не показывают.

— А это всё для того, — поучает меня моя образованная дочь, — чтобы ты не суетилась, а во всём привыкала полагаться на волю Божию.

— Я вижу, как ты не суетишься со своим хвостом по философии.

— Мама, ну что ты всё переводишь на пустяки!

— У меня самого, в смысле чудес и искушений, — Сергей деликат-но уводит разговор от неприятной темы, — паломничество началось ещё до отлёта на Святую Землю. Вечером схватился — нет паспорта. Три часа искал, уже почти отчаялся — нашёл всё-таки во внутреннем кармане куртки. Утром продолжилось. Такси, которое с вечера заказали, не при-шло. Якобы пробило колесо. Ждал, препирался с диспетчерами. Махнул рукой и поехал на своей. Еле-еле успел. Спасибо, отец Виталий сумел до-говориться, чтобы меня после окончания регистрации всё-таки посадили на рейс.

Становилось жарко. Мы стащили с себя сначала куртки, потом сви-тера и кофты с длинными рукавами. Кстати, заметила недавно, что сло-жилась типичный наряд православной прихожанки: длинная свободная

юбка, в цветок или широкую полосу, нарядная светлая блузочка, туфли на низком каблуке, чтобы ноги не уставали стоять долгие службы, и лёгкий шарф — именно шарф, а не платок, элегантно переброшенный одним концом за плечо. Очень красиво. Мы с Анютой, как всегда, выпадаем. Ребёнок строг. Белый верх, чёрный низ. Тугой платок. А я — как придётся: джинсовая юбка, свитерок навывпуск, шарфик сползает на затылок. И обе в кроссовках.

Итак, мы ускорили шаг.

Впереди нашей группы двигался, перепрыгивая через плоские ступеньки, экскурсовод по имени Павел, замыкал шествие отец Василий.

Мы шли по Виа Долороса.

Ух, как припекало! Как нестерпимо жгло солнце, как хотелось пить и сохли губы, как кричали торговцы водой, жаля барабанные перепонки своими высокими истошными голосами, как резок был и прян запах жёлтого шафрана, как тянуло забиться в узкую полосу тени, ползущую от низких домов с террасами... Проклятый город Ершалаим! Стоп, хватит.

Мы сгрудились у второй станции. Темница, где уже осуждённый, уже подвергшийся бичеванию Господь ждал исполнения своей судьбы. Крутая лестница спускается вниз, в узилище. Каменный мешок со скамьёй. Сырой, гниlostный запах. Ступени ведут ещё ниже: камера, где сидели Варавва и тот, другой, благоразумный разбойник. Налево от входа — греческий храм, небольшой, группа набивается впритык. Владыка Георгий служит молебен, и гулко звучат его слова.

— Сейчас вы пойдёте по крестному пути Господа нашего, Иисуса Христа, — говорит он, обернувшись к нам грустным лицом. — Пусть этот путь откроется перед вами, как вся ваша жизнь.

Народу на улице — как на демонстрации. Мусульманки в длинных тяжёлых пальто и хиджабах, по-пушкински кудрявые эфиопы в белых, как простыни, балахонах, лощёные иудеи с витыми пейсами, туристы в шортах. Как таран, несут наперевес огромный крест бразильцы. Поют сосредоточенно. Пряча руки в широкие рукава — неужто замёрзли? — пробегает стайка монахинь. Шагает энергично русский батюшка, за ним — выводок круглолицых тётенок в платках. Скользит сквозь толчею длинноволосый босой монах, красавец писанный. Кричат зазывалы, у серебряной лавки, где лежат навалом узконосые кувшины и пыльные лампы Аладдина, торгуется семейство американцев, толстый араб крутит веретено с кебабом, пахнут ванилью сладости и льётся холодный лимонад. Роскошные ковры и молитвенные коврики, жемчужные нити, гребни из оливкового дерева, библейское масло — нард — и перламутровые радушные раковины.

— Да что же это такое? — сержусь я. — Самое драгоценное для всего человечества место, а что здесь устроили? Базар-вокзал!

— А как бы ты хотела, чтобы это выглядело? — спрашивает дочь. — Музей под открытым небом? Под стеклянный колпак?

Ещё утром они кричали: «Осанна!» Но только Вероника выйдет на порог и протянет Ему свой платок. Молча.

— А вы знаете, — говорит Серёжа Чапнин, — что если бы хоть один человек из толпы вступился за Него, то судьям бы пришлось отдать дело на новое рассмотрение?

— Только один? — спрашивает Аня. Она восторженно смотрит на обгоревшее Серёжино лицо. Ей льстит, что она, студентка, может запросто разговаривать с настоящим главным редактором и даже называть его по имени.

— Только один, — подтверждает Чапнин и, словно в поисках этого одного, оглядывает кипящую вокруг нас толпу. Встряхнув рюкзак за спиной, он бодро ныряет в самую гущу, и мы семеним за ним, стараясь не терять из виду его светлую голову с перехваченным резинкой хвостиком волос.

— Русский хорошо! — завопил торговец, тыча в нас какими-то буклетами. — Америка капут!

— Дожили, — проворчала я, — они считают, что нас это должно порадовать.

— Не обращай внимания, — бросил Сергей через плечо, — это у них всю жизнь, без всякой связи с нами!

— Мама, не отвлекайся на политику!

Меня одёргивает, а сама застряла у прилавка с рахат-лукумом, липким и прозрачным, как витражное стекло. Так и тянет взять розовый кубик двумя пальцами за сахарные бока, поднести к прищуренному глазу и рассмотреть сквозь него золотое солнце.

Делать из этого места музей — всё равно что накрыть стеклянным колапаком саму жизнь.

— В этой кафешке хорошо пересидживать дождь, — сказал Павел.

Он вёл нашу компанию, петляя между столиками, коврами, распластанными прямо на тротуаре, меланхоличными игроками в нарды и многоцветными, как муранское стекло, рядами кальянов. По виду местечко напоминало фургон, четвёртой стены у него не было, а проём плавно перетекал в следующее заведение, в котором стены отсутствовали и вовсе. Мы расположились, словно на галёрке, и через головы едоков и курильщиков наблюдали людское коловращение.

— Я как-то просидел здесь с туристами несколько часов. Сбегал к Яффским воротам за ракией...

— А что, разве здесь есть? — встрепенулись мужчины.

— Что вы, здесь, конечно, нет! — Обычное для Павла сосредоточенное выражение лица, словно он всё время внутренне нас пересчитывает, на минуту приняло строго плакатный вид. — Но с собой, — он пригнул голову, будто раскрывал большой секрет, — с собой — можно.

О ракии, впрочем, на таком солнцепёке думать не хотелось до отвращения. А вот о дожде... Я представила, как вдруг разойдутся хляби небесные, жаркие и как хлынет ливень, и кинутся под навесы зазывалы, бросятся врассыпную продавцы, роняя по дороге серебряные блюда, расшитые бисером платья, кожаные сандалии, которые зовут здесь апостольскими, побегут, разгоняемые нежданным потоком воды, как бежали торговцы из Храма...

— Я думаю, — задумчиво протянул Сергей, — у нас этого уже больше никогда не будет.

— Чего не будет? — встрепенулась я. — Дождей?

— Нет, я имел в виду... — Он покачал подбородком в сторону россыпи сувениров. — Лавок, например, которыми по триста лет владеет одна и та же фамилия.

— Тут не только лавки — ключи от самого храма Гроба Господня с двенадцатого века принадлежат одной семье. Это право им подарил Сулейман Великолепный, когда покорил Иерусалим. Причем правом открывать эти-ми ключами двери владеет другая семья, — профессионально включился Павел.

«Как странно жить обыденной жизнью внутри чуда, быть в каком-то смысле его частью», — думала я.

Мы знаем, что брошенный предмет всегда упадёт вниз, а не полетит, расправив крылышки, в облака. Точно так же они знают, что прадедушка отмыкал замок в дверях Храма, что правнук будет хранить ключи в заветной шкатулке сандалового дерева и что когда наступит урочный день и час, то он вернёт доверенное тому, кого пошлёт за ним Творец всего сущего. По крестному пути они каждый день идут на работу, а библейские стены укрывают их от непогоды. Мы же — как дети, перед которыми внезапно распахнули двери, и они топчутся на пороге, поражённые дивной красотой рождественской ёлки. Стоим и ждём. А нас здесь ждут?

— А ведь у нас больше свободного времени не будет, — вмешалась Наташа. — Вечером Крестный ход, ночью — литургия. Когда же мы с вами к самому Гробу Господню попадем?

— Имейте в виду, — заметил Павел, — там очередь часа на два, не меньше.

— А как-то обойти это дело нельзя? — честно, по-нашему спросил один из нижегородцев. — Ну, договориться с кем-то — пусть проведут.

— Заманчиво, конечно, — вежливо ответил западный человек Павел, — но я бы не взялся.

— А во время ночной литургии, — подступилась с другого конца Наталья, — можно будет зайти в кувуклию и приложиться к Гробу?

— Вообще-то, можно, — уклончиво согласился Павел, — но там могут идти службы, и вас не пустят.

Народ томился. Быть в Иерусалиме и не попасть к самой его сердцевине — сам себе потом не простишь, но и двухчасовая очередь энтузиазма ни у кого не вызвала.

«Вот, — подумала я, — удачный для меня случай: преодолею лень и за народ постою».

— Давайте так, — сказала я вслух, — я пойду держать очередь, а вы все допивайте спокойно кофе и бродите по лавкам. А время от времени заглядывайте и проверяйте, как я движусь.

Анюта схватила сумочку.

— Слушай, — удержала я её руку, — ты же не хочешь, чтобы мама волновалась. Давай договоримся: приходи ровно через тридцать минут. Если ещё далеко буду стоять, пойдёшь гулять дальше.

— Хорошо! — уже на бегу крикнула дочка и смешалась с толпой.

Не люблю я, когда она уходит одна. Но ведь и удержать взрослую девушку при себе никак невозможно. Я вздохнула над вековой родительской дилеммой, оперлась на стул, чтобы не ступить на больную ногу, — старая травма от хождений и от жары ныла, как новая, — и двинулась к Храму, благо недалеко. Да там всё недалеко.

2

Очередь обвивала кувуклию плотным кольцом, человек по десять в ряд, повторяя очертания ротонды. Колонны уходили вверх, в круглый сумрак купола. Я встала в конец. Справа от меня жалась семья казахов. Мать семейства шевелила губами, как школьница, приблизив к глазам раскрытый молитвенник, а отец — его лица я так и не увидела — переступал вместе с колыханиями толпы, не отрывая руки от стены кувуклии, и, двигаясь, словно вычерчивал на ней полосу. Впереди вытягивали шеи японцы.

В саму кувуклию — храм в Храме, укрывающий место погребения Господа нашего Иисуса Христа, — пропускают человек по пять, по шесть. И когда последний из допущенных, пригнувшись, выходил обратно на свет, плотные ряды, словно одновременно, делали глубокий вдох и, выдохнув, волной сдвигались вперёд. Позади меня пристроилась группа русских паломников. Ну, наших тётенок учить держать очередь не надо. Приняв форму ядра, они двинулись вперёд. Не прошло и нескольких минут, как японцы, которые даже не заметили, как их отгёрли, остались позади, мои робкие соседи-казахи вдавились в стену кувуклии, а я, в силу причин, которые ничем, кроме как зовом родины, объяснить не могу, оказалась внутри компании соотечественников и, подпираемая крепкими русскими боками, поплыла по воле волн.

«Куда мы рвёмся, — думала я, глядя в целеустремлённые славянские лица под шёлковыми шарфиками. — Куда спешим мы, прибежавшие в одиннадцатом часу, запыхавшись и расталкивая локтями тех, кто стоит здесь с самого начала? Всё расхищено, потеряно, разбазарено без всякого смысла и толка. Кто мы на этом празднике жизни и смерти? Почему нам опять больше всех надо?»

Между тем Анны не было. Не было её и в тридцать минут, как договаривались, не появилась она и в сорок, ни через час.

Туго зажатая с двух сторон, я крутила головой, стараясь не упускать из вида ни один из входов в ротонду. Страх ещё не было, я знала, что страх навалится позже, а сейчас, с неизбежностью тошноты, поступала тоска. Пока ещё помогали лёгкие средства типа самоуговоров: увлеклась, забрела далеко, а когда схватилась — оказалась где-нибудь у Дамасских ворот, откуда тащиться обратно не меньше получаса. Копошилась обида: что же так меня расстраивать, но это уже мелочёвка, можно и пренебречь.

Тем временем меня выносило всё ближе к входу, где суетился распорядитель. Плотный грек в чёрной рясе то отмерял новую микропартию, то вовсе перекрывал движение, пропуская монахов, то снова отодвигал загородку и кричал:

— Руссия, бистро! Full people! — И махал руками, словно выгребая задержавшихся паломников наружу.

«Надо прекратить нервничать и сосредоточиться на главном, — думала я, стоя уже в самых первых рядах. — Сейчас я зайду туда, где мне нужно понять самое важное. А я? Я только и думаю, куда подевался мой ребёнок. Вот так всю жизнь, всю свою жизнь я провела, волнуясь за неё».

— Бистро! Бистро! — кричал грек.

«Как казаки в Париже», — подумала я и, не чуя под собой ног — ни больной, ни здоровой, — ступила на порог.

В висках стучало, словно я поднялась высоко в гору, словно в разреженной атмосфере на меня не хватало воздуха. Прикрытый плитой, стоял посередине маленькой комнаты камень. Это его отвалил от входа в пещеру своими лёгкими руками ангел в блистающих одеждах и ждал, присев на него, когда придут ученики. Оттуда виден был край розовой мраморной глыбы — той, которая потрясла жён-мироносиц своей ослепительной пустотой. Мысль лихорадочно скакала и не могла уцепиться ни за одну букву, ни за один проблеск в сознании: что говорить? что делать? Вдруг словно отворились затворки, и из каких-то неведомых глубин всплыли единственно возможные слова:

— Отче наш, иже еси на небесех...

И привычные сочетания, которые я речитативом произносила вместе со всеми молящимися в храме, уютная домашняя молитва, которой учила меня, маленькую, мама, слились с грозной простотой библейских камней.

Как-то давно я спросила своего друга Сашу Любимова, который вернулся из поездки в Иерусалим:

— А что ты чувствовал, когда прикоснулся к Гробу Господню?

Саша, мастер слова и говорун, задумался, поднял глаза к потолку, потом отвернулся к окну и произнёс, не глядя мне в лицо:

— Не знаю. Просто выходишь оттуда другим человеком.

Жара потихоньку спадала. На выщербленных ступеньках, отделяющих храмовый дворик от улицы, сидели мои компаньоны по путешествию, без моей помощи отстоявшие свой срок к Гробу Господню.

— Анюту не видели? — спросила я, в общем, не рассчитывая на ответ.

— Может, она в храме?

— Как же! — проворчала я и опустила на тёплый камень, вытянув вперёд больную ногу.

— А что бы тебе просто не позвонить ей? — спросила Наташа.

— Ты забыла? У меня сломался телефон.

Дальше началась колготня, которая обычно сопровождает неприятности. Все наперебой давали советы, вспоминали, у кого на мобильном может оказаться Анютин номер, — конечно, у Чапнина, но где сам Чапнин? Его вроде видели в армянском квартале, он покупал крест с затейливым орнаментом, — у кого есть его номер, номер есть, но именно на этом аппарате кончились деньги, — наконец, есть деньги и номер, но не работает связь.

— Ну что ты так переживаешь? — Наташа присела рядом со мной и положила мне на руку тёплую ладонь. — С ней ничего не может случиться. Загулялась, глаза разбежались от изобилия.

— Понимаешь, — неуверенно сказала я, — дело в том, что она однажды терялась. При самых страшных обстоятельствах. Если я не знаю точно, где она находится, у меня как чёрная пелена всё в голове застилает.

Наташина ладонь стиснула мои пальцы.

— Время от времени мне снится страшный сон: я ищу Аню. Первые годы после того ужаса я всё искала и не могла найти её. Просыпалась от того, что дыханье перехватывало. Потом, со временем, стало отступать. Помню, я проснулась на рассвете и закричала, тряся мужа за плечо: «Толя, я нашла её! Нашла!»

Я с силой провела ладонями по лицу, словно сдирая с него напряжение.

— Её нет уже два часа. Она такая доверчивая. Её могут заманить куда угодно, обмануть, увлечь. А если у неё тепловой удар? Если она упала на ступеньки и разбила лицо?

— Я обойду храм. Вдруг она где-то в прилегающих приделах. — Мой нижегородский друг поднялся и, не оборачиваясь, быстро пересёк двор.

В конце улочки показался отец Василий. Увидев нас, он призывно помахал рукой, показывая на дверь в каменной кладке, и, не дожидаясь остальных, исчез в стене.

— Пойдём, — сказала Наталья, — там, вверх по лестнице, как на антресолях, спрячется греческая церковь. Подождём Аню там.

— Она же знает, что я должна быть в Храме.

Я автоматически поднялась вместе со всеми и прошла с ними до низенькой, скрытой от ненаблюдательных глаз дверцы. Наташа накинула на пушистую голову шарф и пошла вперёд, всё оборачиваясь на меня. А я встала, прислонившись к нагретой солнцем стене, лицом к входу в храм Гроба Господня.

Паломники вытекали и втекали в раскрытые двери. Разноцветное людское месиво крутилось перед моими глазами, образуя пёстрый ковер. Вдруг в толпе, слаженной общим неторопливым ритмом, мелькнуло движение — фиолетовое пятно, маленький вихрь. Я качнулась навстречу: вихрь, пятно и движение слились в одно — в бегущую ко мне дочь. Она бежала, подпрыгивая, словно катила перед собой обруч, и лицо её смеялось и было таким детским, будто замерло в самом любимом мамами возрасте — лет десяти! Если бы она была виновата, я узнала бы сразу по сжатым губам и набыченному лбу. Нет, лицо её было весело и легко, словно я приехала навестить её в лагерь, словно она только что получила пятёрку по музыке и неслась получать заслуженные восторги!

— Я стояла прямо за тобой! — закричала она, ещё не подбежав. — Я пришла ровно через тридцать минут, но к тебе было совершенно не пробиться.

Она с разбегу толкнулась в меня всем телом и тут же отскочила: она не маленькая, чтобы устраивать нежности на улице!

— Я видела, как ты крутила головой.

— Что же ты не подошла ко мне, не крикнула?

— Как?! Меня сжали, как кильку в бочке! А где все?

Я крепко взяла её за руку, и мы пошли вверх по ступенькам туда, откуда слышен был, словно из включённого телевизора, Наташин голос:

— Кирие элейсон...

— Ты что-нибудь успела купить в подарок?

— Успела. — Аня потупилась и снова рассмеялась. — Рахат-лукум.

4

Я опиралась на пальмовые ветви, точно на посох. Узкие стрельчатые листья кололи пальцы, а тонкое основание, к которому крепились зелёные лопасти, стояло крепко и несгибаемо.

— Серёж, мы случайно не твою ветку утащили? — осторожно спросили мы Чапнина. Стол, за которым возвышалась его спина, украшала тарелка с пятью видами капусты.

Сергей живо повернулся к нам:

— А я-то думал: где я её забыл?

— Понимаешь, — смутилась я, — когда мы выходили из автобуса, я стянула с полки пальмовый пучок. Думала, что там лежат две наши.

— А оказалось, — закончил бодро Сергей, — три наши!

Он поочерёдно окинул нас взором главнокомандующего:

— Анюта, а чего у тебя физиономия такая постная? Это еда у нас постная, а вид у паломника должен быть бодрый и молодцеватый! Лена! Ты что тарелку отодвигаешь?

— Слушай, не могу уже, что ни возьму — всё не нравится.

— Терпи! — вдруг строго сказал Чапнин и, как бы смягчившись, добавил: — Немного уже осталось.

Он вдруг вынул откуда-то из капустных недр зелёный перчик:

— Мне знакомый монах посоветовал любопытный рецепт: если съесть перчик и сразу запить его горячим овощным супчиком — то эффект получается особый, будто принял пятьдесят граммов водки!

Анюта чопорно поморщилась.

Я же доверчиво приняла из дружеской руки невинный овощ и зачерпнула ложкой зелёную дымящуюся замазку из круглой чашки с ручками по бокам.

— Это ещё ничего. — Сложив руки на животе, Чапнин с довольной физиономией наблюдал, как я машу обеими ладонями, пытаюсь загнать воздух в пылающий рот. — Мне и острее попадались. А знаете, — оживился он, привлекая внимание соседей по столу, — оказывается, есть Общество поедателей перца. У них даже введена единица измерения «жгучести» — шкала Сквилла. Доходит до пятнадцати миллионов пунктов. Этот-то, — он проследил, благожелательно улыбаясь, как я лихорадочно глотаю шпинатный суп, — больше чем на сотню не тянет. Ну ладно. — Он поднялся, подхватил пальмы и, пообещав обмотать их скотчем, чтобы нас с ними пропустили через границу (представляю, как мы идём через таможенную с пальмовыми ветвями и выносным армянским крестом — настоящий крестный ход!), удалился.

Словно поджидая этого момента, в дверях ресторана возникла Наталья. Найдя нас взглядом, она уселась на место Сергея, расправив широкую голубую юбку.

— Наташа, — сказала я совершенно невинным голосом, — нам только что Чапнин рассказал очень интересный рецепт. Вот, видишь этот маленький зелёный перчик?

5

Началось с того, что пальм у нас не было.

Перед тем как пересечь Иерихонскую пустыню, наша экспедиция остановилась на привал у зелёного пятка. С некоторой натяжкой его можно было назвать романтическим словом «оазис». Там действительно росли пальмы, а в стандартном киоске в стандартной кофеварке варили чёрный напиток и раздавали в бумажных стаканчиках за стандартную мзду. Мы с Анютой заметили, что наши товарки по путешествию, опытные паломницы, собирают ветки, в изобилии разбросанные по поляне, придирчиво каждую из них оглядывают и волокут в автобус. По дороге к Иерихону экскурсовод объяснил, кстати, что пальмы — это, оказывается, вовсе и не деревья, а трава. И наглядно продемонстрировал нам из окна отличие банановых трав от таковых же, но плодоносящих финиками: первые, или, наоборот, вторые, не помню точно, высокие, а другие — низкорослые. Сбор веток нашими паломницами мы объяснили этнографическим интересом и подивились размерам гербария, могущего вместить в себя банановый, например, образец.

А выяснилось, что всё совсем не так!

Когда мы поднялись на Елеонскую гору, откуда должен был начаться Крестный ход, оказалось, что все, кто собрался на шествие, имеют при себе пальмовые ветви. Причём к некоторым из них были привязаны — дань укоренившейся русской традиции — вербочки, другие же украшены были цветами, и почти у всех верхние листья были изящно переплетены в виде креста. Тут мы с Анютой сообразили, как бездарно провели время на зелёной стоянке.

Между тем народ прибывал. Вокруг храма с терракотовой черепичной крышей собрались русские паломники, гречанки в чёрных тугих платьях, арабы. Приплясывая, взобрались вверх по каменистому склону эфиопы с трёхконечными крестами, которые они поднимали и опускали в такт пению. Хлопотали, деловито пересекая церковный двор, священники. Ждали патриарха Иерусалимского.

С террасы, выложенной каменными плитами, был виден город.

Казалось, что он вырастает прямо из холма. Как грибы из гигантской грибницы, прорезаются из сухой земли Иудеи дома с плоскими крышами, башни, круглый храмовый купол — прорезаются и упорно ползут, боязливо прижимаясь друг к другу, вверх, к столбу горячего света. Их распахивают плугом, стирают с лица земли, раскидывая камни, а они снова и снова поднимаются, влекомые навстречу неведомой силой. С верхушки Елеонской

горы город казался таким близким, что казалось, протяни руку — и она обожжётся о золотой купол, как об уют.

Я склонилась над фонтаном и прыснула водой в разгорячённое лицо.

Мне всё время казалось, что самое главное со мной ещё не произошло. Будто я что-то упустила, не дослушала, не дотянулась. Словно я должна была найти этот недосыгаемый город, а он ускользал, распадался на фрагменты, как не сложившийся пазл.

— Мама, — воскликнула Аня, — смотри, там мать Параскева!

И верно: в тесной группе монахинь Горенского монастыря шло несколько малоярославецких сестёр. Они частенько приезжают в Иерусалим по своим послушаниям.

Молодая монахиня, уловив своё имя, остановилась и весело заулыбалась нам навстречу. Впрочем, я не знаю возраста матери Параскевы — у монахов всегда молодые лица.

— А я знала, что вы придёте на Крестный ход! — сказала монахиня. Она отсоединила от толстой связки две пальмовые ветви и протянула нам: — Я правильно догадалась, что вам они понадобятся?

Мы радостно приняли подарок, тронутые тем, что и здесь, вдали, так сказать, от родины, мы всё равно находимся под покровительством родного монастыря.

— А вы к камню уже подходили? Вообще про него не знали? Идите скорее, вы ещё успеете, — мать Параскева показала рукой в сторону небольшой часовенки. — По преданию, на этот камень Господь ступил, чтобы сесть на ослика, на котором Он и вошёл в Иерусалим.

— А интересно, — спросила Аня, — что случилось потом с осликом?

— Про ослика нигде не сказано, — развела руками монахиня, словно расстроилась, что жизненный путь такого знаменитого животного покрыт тайной.

— Известно только одно, — повеселев, вспомнила она. — Когда ученики накрыли спину ослика своими одеждами, то он загордился и решил, что это не ради Господа стараются они, а для того, чтобы его, ослика, украсить.

— В таком случае, — заметила я, — можно предположить, что судьба его, как у всякого гордеца, была незавидна.

Мать Параскева вздохнула, печалуясь, видно, и о зазнавшемся ослике, и о гордецах.

По толпе пробежала волна оживления.

— Пора, — сказала мать Параскева. И правда, двери храма открылись, и на пороге появился патриарх Иерусалимский.

Стараясь не терять друг друга из вида, мы с дочкой двинулись вслед за всеми по дороге, ведущей в Иерусалим.

«Сегодня мы кричим: “Осанна!”, — думала я, — а завтра? Кто из нас завтра опять предаст Его: словом, делом или дурным помыслом?»

Сначала мы держались в первых рядах, а один раз даже каким-то загадочным образом забежали вперёд, так что несколько минут наблюдали, как шли впереди густой колонны иерусалимский патриарх с владыкой

Георгием, окружённые греческими священниками, которые, с пением и славословием, несли икону Спасителя. Потом мы, естественно, отстали. Мимо мелькали наши друзья, разрозненно и парами, в какой-то момент появился Сергей, качнул нам одобрительно пальмовой ветвью и исчез впереди.

И тут нам по-настоящему повезло! Мы оказались рядом с нижегородскими батюшками как раз в тот момент, когда их греческие собратья взяли паузу.

Самый старший из них поднял высоко руку, и над примолкшей колонной, над кривыми улицами, над балконами, с которых, перегнувшись через перила, глазели на нас местные жители, разлился раскатистый волжский бас отца Андрея.

— Благословен грядый во имя Господне! — пели священники, а за ними как-то сразу сплотилась и запела вся их нижегородская команда. Чем-то они все были схожи между собой: крупные, широкоплечие, густобородые, с весёлыми глазами. Коренные русаки.

— Не случайно, — думала я, глядя на их прекрасные лица, — что спасение Святой Руси в Смутное время пришло оттуда, с Волги. Именно так нижегородцы шли за князем Пожарским, воины, купцы, жёны, чьи имена, как обычно, забыли внести в историю, — жёны, которые сняли с белых рученок перстни, чтобы снарядить своих витязей в поход. Спасут ли и на этот раз?

Смеркалось. Тьма обволокла раскинувшийся перед нами город. Скрылись белые дома, витые силуэты олив и лабиринт улочек. Великая стена, составленная строителями Сулеймана из камней, которые скопились в предместьях царского города со всех его эпох, ограждала собой кусок темноты. Зажглись уличные фонари. Но не повсюду, а только на короткой дороге между Гефсиманью и городскими воротами. В арке ворот тоже загорелся свет. И только он один и был виден с горы, по которой спускались мы с пением и пальмовыми листьями. Только они, врата, сверкали перед тёмным, покрытым вечерним сумраком Иерусалимом, перед золотым Небесным Градом.

И он ждал нас.

Римма Маркова

Родилась в Ленинграде. Окончила художественно-графический факультет Педагогического института им. Герцена (по специальности «Учитель рисования»), работала в Мурманской области — там вышли первые сборники. В 1986 году вернулась в Ленинград, в 1987-м была принята в Союз писателей.

Более 20 лет живёт в Швеции. Автор семи книг стихов и многочисленных публикаций в периодике. В 2001 году вышла книга на шведском языке «Fönstret» (переводчик Анника Бэкстрём). Стихи переводились на шведский, английский, грузинский, иврит, болгарский и китайский языки. Повесть «Чёрный викинг/ Den svarte vikingen» вышла билинговой отдельной книгой в 2009 году. Лауреат различных международных конкурсов и фестивалей. Член Союза писателей России и Шведского ПЕН-клуба.

ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ИЗРАИЛЕВИЧА

1

Не фанатик, не безбожник,
вольный странник, имярек,
жил да был один художник —
очень добрый человек.
Жил — и нету. Был — и нету.
Чистый свет, музейный зал...
Хорошо бы сказку эту
он мне сам пересказал.

2

Цветут на дереве глаза
ресницами вразлёт.
На скатерть падает слеза,
а дерево поёт.

Ресницы ветер шевелит,
клубится снежный дым.
Художник плакать не велит.
Что горя, что над ним
лежит надгробная плита?
Глаза его цветут.
Они смеются и поют
нам долгие лета.

* * *

На золотом крыльце сидели
царь, царевич....
Мы все играли в общую игру,
вперегонки носились по двору,
а выросли и стали человеки.
Портной со други пляшет во дворце.
Король сидит (отнюдь не на крыльце).
Царь и царевич сгнули навеки.
Все с одного двора, из тех ворот,
где королевич как сапожник пьёт,
где, босяки, живали мы богато,
не различая серебра и злата.
В золотые ворота
Проходите, господа.
Первый раз прощается,
второй раз запрещается,
а на третий раз
не осталось нас.
Все, кто сидел на золотом крыльце,
давно растаял в золотой пылице,
и самый двор отправлен на покой...
А кто ты будешь такой?

* * *

В том городе, где я живу всегда,
в каких бы городах ни проживала,
фонарь, аптека, улица, вода
и снова — ледяная рябь канала.
В том городе, где все мои друзья
учились петь, взлетая из-под крыши.
Все вышли в люди, верно, но в князя —
спаси Господь! — никто из нас не вышел.

В том городе, где вся моя родня
теперь живёт лишь в продолженье женском.
Мужчины спят — кто на Преображенском,
другие — на Девятом января.
И я надеюсь, что мои слова
останутся, не пролетят впустую
в том городе, где я ещё жива,
хотя я там уже не существую.

* * *

Маше

Кормить, выгуливать, купать,
всё повторяя раз за разом...
Не девочку — старуху-мать,
почти утратившую разум.
Купать, выгуливать, кормить,
сидеть ночами у кровати...
Не раздражаться, не корить,
покуда сил на это хватит.
Но даже если хватит сил
и криком дом не растревожишь,
ты всё равно себе простить
прощальных дней её не сможешь.

Игорь Белкин

Живёт в Эстонии. Автор стихов, детских сказок. Многие произведения поэта автобиографичны. Участник коллективных сборников в Германии, в Финляндии, в России. Автор поэтических сборников «Состояние души» (2008), «Как странен мир, в котором мы живём...» (2011), «Пишу письмо длиною в жизнь...» (2013); книга стихов в серии «Лауреаты премии В. Сирина (Набокова)» (2014).

ЛЮБОВЬ СКАЛЬДА

Откатилось, отмершилось
рандеву с прекрасной женщиной,
вёсла чёрного драккара
белым парусам не пара.
Голоса штормов развеяли
ключья радости над мелями,
августовские зарницы
не желают возродиться.

Гребни моря — словно локоны,
чайки пролетают около:
по земным обычным меркам
не похож ты на берсерка!
Перед каждою красавицей
неприлично воском плавиться,
сердце воина должно быть
жёстче злата высшей пробы!

Чайки, скальд я, до воителя
не дорос и по наитию
выпеваю людям саги
о любви, вине, отваге!

А певцом особо ценится
не наложница, не пленница,
а любовь без произвола
с женщиной по доброй воле.

Жаль, что парусам не пара
вёсла чёрного драккара...

ЖЕНЩИНЕ

Скажите: Вы любите дождь в октябре?
Не любите... ну и не надо,
гораздо приятней при летней жаре
предстать перед всеми наядой,
пить кофе эспрессо, к нему круассан
с прозрачною долькой лимона,
и спутник был чтобы сильнее, чем Тарзан,
с прекрасным лицом Аполлона!

Минуты забвенья прозрачны, легки;
дожди, запятнавшие окна,
вовсю барабанят по ленте реки —
опавшие листья намокли;
избыточной влагой пропитаны дни,
а солнце заоблачно где-то,
и Вам не приходится прятать в тени
себя от безумного лета.

Скажите: Вы любите снег в октябре
с его бессловесной бравадой
и ломкие стрелы из глаз фонарей,
скользящие по снегопаду?
Он тает, и вновь обнажается явь
неопределённого цвета,
и водные струи, слегка попетляв,
уносят весь мусор в кюветы.

Опять набухает полоска реки,
скрывая песчаные пляжи.
Кормились на них иногда кулики
и цапли стояли на страже.
Всё это пейзажно, не Ваше оно,
Вы употребляете ретушь,
чтоб не очернялось ничем полотно
с крестом на груди Пересвета.

Тревожу героев былин и легенд...
Вам их имена незнакомы,
погоня за счастьем — Ваш истинный бренд,
а всё остальное — солома...

СКАЗ О КЛУБКЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

В любом клубке противоречий
таятся выдохи Предтечей,
сумевших совершить побег
из века Судного в наш век.

Сумевших...
Но лизнуло память
всепожирающее пламя
времен,
и выжгло часть мозгов
у всех титанов и богов.

Отсюда патина и накипь
на всём...
Ползёт по буеракам,
хрипя, народ любой страны
от юных лет до седины.

Мне от него отстать негоже,
и скепсис зря морщинит кожу —
я с массой общею ползу
сквозь буераки и грозу.

Противоречия грохочут
в мозгу и смешивают ночи
и дни в клубок, в единый шар,
грозя раздуть земной пожар.

А боги затаились где-то
в потоках ультрафиолета,
и нет им дела до Предтеч,
век не точивших ржавый меч.

ТУМАНИТ ОСЕНЬ ЧУДЕСА

Блестит серебряно роса,
туманит осень чудеса,
шагает по родному краю,
с деревьев подать собирая.

Лесной прогал звеняц и пуст,
от первых заморозков грусть
бредёт к узорчатым рябинам,
расклёванным наполовину.

Дрозды, конечно же, дрозды
вкусили яркие плоды,
насытились и улетели
к другой, пока невнятной цели.

Трава хрустит под сапогом,
безлиственность берёз кругом
и дружеские лапы елей
позеленее, чем в апреле.

Опят семейство на пеньке —
стеклянных, словно соль в кульке, —
и солнце скромничает где-то,
устав от призрачного лета...

Содержание

Австралия	
Наталья Крофтс	4
Азербайджан	
Алина Талыбова	8
Бельгия	
Майя Шварцман	10
Германия	
Михаил Юдовский	18
Даниил Чкония	24
Греция	
Елена Андрейченко	26
Израиль	
Людмила Клёнова	31
Елена Игнатова	36
Леонид Финкель	53
Италия	
Наталия Пейсонен	65
Канада	
Бахыт Кенжеев	69
Александр Амчиславский	73
Россия	
Елена Карелина	77
Мария Амфилохиева	82
Владимир Симаков	87

США

Марина Гарбер	90
Александр Габриэль	98
Галина Пичура.....	102
Александр Немировский	107
Михаил Садовский.....	112
Юлия Резина	116
София Юзефпольская-Цилосани	120

Финляндия

Елена Лапина-Балк	125
Леонид Яковлев	143
Надежда Жандр	147

Черногория

Елена Зелинская	150
-----------------------	-----

Швеция

Римма Маркова	163
---------------------	-----

Эстония

Игорь Белкин	166
--------------------	-----

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ МИРОВОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ
11/2017

Корректор В.Версиянова
Верстка Н.Нутрихина
Обложка О.Маркина

Подписано в печать 25.12.2017. Формат 70 × 90 ¹/₁₆.
Печ. л. 10,75. Заказ № _____

Издательство «Союз писателей Петербурга»
191119, ул.Звенигородская, д. 22, каб. 22
souzpisateley@mail.ru

Типография «Арт-Экспресс»
199155, Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, 17